[**И. Я. Славин**](http://magazines.russ.ru/authors/s/islavin)

**Минувшее - пережитое. ВОСПОМИНАНИЯ.**

***И. Я. Славин***

Минувшее — пережитое

ВОСПОМИНАНИЯ

Продолжение. Начало см.: Волга. 1998. №№ 2 — 3, 5 — 6, 7.

В годы губернаторства А. И. Косича

**А. И. Косич — губернатор на особицу. — Десятки тысяч деревьев украсили улицы. — Непривычные “вольности” из уст губернатора. — Посещение Саратова сербским митрополитом Михаилом. — Избрание в члены Саратовской губернской учёной комиссии. — Н. С. Соколов, автор исследования по истории раскола местного края. — “Накануне городской реформы”. — Начало очередного выборного четырёхлетия. — Присяжный поверенный А. М. Масленников. — Вновь гласный и вновь заступающий место городского головы. — Победа А. Н. Епифанова, нового городского головы. — Совместная служба с ним, предчувствие: “мы не приживёмся”. — Противоположность Епифанова и Недошивина. — Эффектная реклама своей особы и положительные, симпатичные качества Епифанова. — Состав управы**

А. И. Косич был губернатор на особицу. Это был симпатичный, жизнерадостный военный генерал, обращавший особенно серьёзное внимание на санитарию, гигиену и разведение садов. В первый же месяц своего прибытия в Саратов он собрал к себе всё чиновничество и представителей города и заявил буквально так: “Господа, всем нам надо взяться за метлу и лопату”. Он очень настаивал на деревонасаждении и разведении зелени в городе.

Собственно посадка деревьев по улицам города была предпринята ещё в начале шестидесятых годов по инициативе губернатора князя В. А. Щербатова. Но тогда эта мера прививалась очень туго, а со временем была совсем забыта. Косич в этом направлении действовал настойчиво, и благодаря ему десятки тысяч деревьев украсили улицы города. В честь его сквер на Камышинской улице городскою думою был наименован “сквером генерала Косича”.

Он любил в разные торжественные случаи или в многолюдных деловых собраниях говорить речи, которые потом были изданы особым сборником. Косич иногда в частных беседах проявлял такой либерализм и говорил такие “вольности”, которые русскому человеку как-то непривычно было слышать из уст губернатора и военного генерала.

Косич симпатично и доброжелательно относился к городскому управлению и особенно к его начальным школам.

Считаю нужным остановиться ещё на некоторых фактах и событиях, имевших место в восьмидесятых годах и не отмеченных мною. Так, во второй половине июня 1887 г. наш Саратов проездом по Волге посетил известный сербский митрополит Михаил. Как раз в это время австро-венгры забирали силой Боснию и Герцоговину, жестоко подавляя огнём и мечом всякие попытки к сопротивлению. Кажется, в силу этих обстоятельств митрополит Михаил вынужден был оставить Сербию и находился временно в России. В Саратове он пробыл несколько дней и, помнится, 24 июня совершил торжественную литургию в Киновии. Из Саратова он направился вниз по Волге в Астрахань, до которой я его сопровождал.

В члены Саратовской губернской учёной архивной комиссии я был избран 12 декабря 1888 г., и мне был прислан диплом от 20 декабря 1888 г. за № 297, подписанный председателем А. А. Тилло и правителем дел Николаем Соколовым. Диплом у меня сохранился. Этот правитель дел сын местного священника Н. С. Соколов — автор известного исследования по истории раскола местного края, магистр одной из наших духовных академий, сотрудничавший в восьмидесятых годах в наших местных газетах под псевдонимом “Никс”. Он безвременно и трагически погиб в самом начале девяностых годов: утонул во время купания в Ставрополе Кавказском, где находился гостем А. А. Тилло, который в то время занимал там должность вице-губернатора.

В 1890 г. губернатор Косич разослал некоторым гласным нашей городской думы официальные письма, в которых просил ввиду предстоящего пересмотра действующего городового положения представить свои соображения о желательных изменениях и дополнениях его. Такое письмо получил и я. В ответ я послал очень обширное заключение, которое потом я поместил в нескольких номерах “Саратовского Листка” за 1890 г. (№ 197 и следующие) под заглавием: “Накануне городской реформы”. Некоторые из предложенных мною изменений и дополнений были приняты во внимание составителями нового городского положения и вошли в него одни целиком, а другие частично. Но, конечно, мои предложения попали в министерство, по всей вероятности, под маркой губернатора.

1890-й год был последним выборного в городском управлении четырёхлетия. Для человека, знакомого с ходом дел в нашем муниципалитете, с группировкой партий, с доминирующими тенденциями среди них, было ясно, что в нём назревали новые события, возникали новые течения, готовился новый курс. Кандидатура А. Н. Епифанова на пост городского головы крепла.

На следующее четырёхлетие 1891 — 1894 гг. я вновь был избран в гласные по первому избирательному собранию. В эти выборы впервые вступил в ряды гласных присяжный поверенный А. М. Масленников. Впоследствии он играл очень заметную роль в общественной жизни Саратова. Революция 1917 г. застала его на посту члена Государственной думы. В городские головы на сей раз баллотировались А. И. Недошивин и А. Н. Епифанов. Оба они получили большинство, но у Епифанова оно было с превышением, кажется, на 3 или 4 голоса. Епифанов был утверждён, а Недошивин остался за флагом.

Избрание и утверждение А. Н. Епифанова наша местная пресса единодушно приветствовала, возлагая на него большие надежды. Епифанов представлял собой незаурядную фигуру. Это был человек недюжинного ума, серьёзный, работоспособный, быстро ориентирующийся в специальных вопросах, хорошо владеющий деловой речью. Он не получил определённого законченного образования, но много читал по разным областям знания и, по-видимому, кое-что хорошо переварил. Епифанов был глубоко и искренно сознательно религиозен, состоя постоянным и неизменным читателем “Московских ведомостей” и ярым, страстным поклонником М. Н. Каткова, идеи и тенденции которого последовательно и настойчиво проводились в этой газете и после его смерти. Правость убеждений Епифанова проявлялась им неуклонно и прямолинейно.

Я был блестяще (большинством всех против одного) избран в заступающие место городского головы, причём лично мне было увеличено жалованье на 500 руб. в год. Избрание это состоялось в двадцатых числах марта 1891 г.

Началась моя совместная служба с новым городским головой, с которым как с гласным я в течение целого ряда лет расходился в городской думе коренным образом по некоторым вопросам. Я предчувствовал, что мы не приживёмся, несмотря на увеличение моего жалованья, которым как будто бы хотели подкупить меня и удержать в составе управы. Блестящее избрание меня в заступающие место городского головы давало мне возможность с честью уйти на путь, который я намечал себе ещё со старших классов гимназии, — в адвокатуру...

Епифанов был полной противоположностью Недошивину, который во время кратких пребываний в Саратове своеобразно относился к городским делам и вопросам. Безучастие к ним Недошивина проявлялось в одном, часто повторяющемся жесте: он гладил свою лысину, трепал в сторону бороду, махал рукой и выпускал при этом изо рта густые струи табачного дыма. Всё это надо было понимать так: “Да отстаньте вы от меня, решайте, как хотите и как знаете!..”. Епифанов же, быстрый, юркий, скользкий, корректный, с интеллигентной речью, с бегающим во все стороны взглядом, проникал во все дела и всюду хотел внести своё “я”. Такая мелочность не всегда, однако, была полезна для дела: кроме суеты, она вносила в работу нечто задерживающее дальнейший ход, тормозящее, распыляя часто силы и энергию сотрудников.

При всём том Епифанов любил лозунги, красивые, крикливые, и эффектную рекламу своей собственной особы. Так, в своей первой вступительной речи он заявил, что вся его программа выражается в трёх словах: “хлеб, вода и воздух”... Эти три предмета мы должны предоставить населению. Эта программа нашла отклик даже в столичных газетах. Рекомендовать себя он умел очень хитро, тонко и ловко, непосредственно или же при содействии своих друзей и сторонников, подлаживаясь под настроение местной прессы и даже интеллигентных слоёв. Благодаря такому образу действий он из предводителя и главаря думской “чёрной сотни” превратился в человека, на которого тогда возлагались всякие надежды и упования.

В программу его входили также эффектные “трюки”, которые облекали его ореолом остроумного инициатора; в подобных случаях он иногда не брезговал присвоить и приписать себе инициативу, почин и мысль другого лица. В очень длинной телеграмме в день открытия Саратовского университета (6 декабря 1909 г.) он сумел довольно некстати почему-то упомянуть, что закон об отрубах, проведённый тогда Столыпиным, имел своего предшественника: сдачу саратовских городских земельных участков арендаторам-поселенцам, им, Епифановым, установленную в Саратовском городском управлении. Но мы уже знаем, какую роль он играл в этом деле.

Считаю справедливым отметить и положительные, симпатичные качества Епифанова, о которых я вскользь упомянул выше. Он был деловит, корректен, вполне и совершенно грамотен, обладал деловитой интеллигентной речью и отличался незаурядной щедростью на всевозможные благотворительные нужды, был искренне и глубоко религиозен. В деле благотворительных выдач он откликался на все призывы и случаи. Его религиозность была чужда суеверий и фетишизма, что нередко замечается в людях малокультурных и умственно недостаточно дисциплинированных.

Кроме меня, в состав управы вошли И. Д. Шиловцев, С. И. Воронков и А. С. Жигин — все трое местные купцы и торговцы, не отличавшиеся большой грамотностью, но обладавшие практической хозяйственной опытностью. От прежних выборов в составе управы оставался не выслуживший ещё свой срок член управы В. А. Коробков — сын местного купца, кончивший курс в местной гимназии и дошедший до 3 курса юридического факультета Петербургского университета, который он вынужден был оставить вследствие каких-то неудачных экзаменов. Таким образом, мы с ним вдвоём представляли в управе нашу думскую интеллигенцию.

Таковы ближайшие сослуживцы и сотрудники, с которыми приходилось вступить в новое выборное четырёхлетие.

А работы впереди предстояло немало и самой разнообразной и серьёзной. Ближайшими, очередными вопросами были железнодорожный, юбилейный и многие другие, которые настойчиво стучались в двери городского управления...

Железнодорожный вопрос

**Неоднократные, длительные и страстные прения в думе. — Обрекает ли Саратов “на захудание” проведение веток на Камышин и Вольск? — В Петербурге в роли ходатая от городской думы. — Образование Рязано-Уральской железной дороги. — “Хочешь жить сам, давай жить другим”. — Отвод городских земель под железную дорогу. — Восторги “Саратовского дневника”. — Споры о переводе управления РУЖД из Саратова заверши-**

**лись постройкой для него нового грандиозного здания**

Переходя к положению железнодорожного вопроса в 1891 г., я считаю нужным предварительно сделать поправку и дополнение к моему предшествующему изложению о ликвидации для города железнодорожной гарантии. Эта гарантия не была окончательно ликвидирована в 1884 г., а, по взыскании с города недоимок за прежние годы, была заменена обязательством со стороны города уплачивать ежегодно железнодорожную ренту в сумме 52 тыс. руб. (вместо прежних 72 тыс. руб. металлических).

Это обстоятельство стало причиной и основанием запроса правительства к городу, когда в 1891 г. Козлово-Рязанская железная дорога заявила ходатайство о передаче ей Тамбово-Саратовской железной дороги с значительным продлением срока концессии; причём это вновь конструированное общество принимало на себя обязательство сооружения новых рельсовых линий на Камышин, Вольск, Новоузенск и Уральск. Столь коренное изменение положения Тамбово-Саратовской железной дороги неизбежно влекло за собою освобождение города и земств от уплаты ренты и полное аннулирование принятых ими в конце шестидесятых годов обязательств по отношению к Тамбово-Саратовской линии.

Новый фазис железнодорожного вопроса, закончившийся образованием Рязано-Уральской железной дороги, был предметом неоднократных, длительных и страстных по прениям заседаний нашей городской думы вскоре после вступления Епифанова в должность городского головы. Он возбудил вопрос о том, что проведение веток на Камышин и Вольск гибельно отразится на городе Саратове как на торгово-промышленном центре. Большинство думы, по-видимому, разделяло его опасения, и в конце марта я, вместе с М. А. Поповым и В. И. Соколовым, был избран в депутацию, которой дума поручила немедленно отправиться в Петербург и там ходатайствовать о недопущении сооружения ветки на Камышин (а с Вольской веткой примирились).

Сознавая полную неосновательность такого ходатайства, я всё же имел неосторожность согласиться принять на себя роль “казённого защитника” ходатайства думы и выехал с другими депутатами в Петербург, где мы пробыли недели полторы-две, ходили по министрам, объяснялись лично, подавали обширные докладные записки, прошения. Сановники отвечали нам в большинстве случаев такими выражениями, которые напоминали изречения жрицы Пифии у Дельфийского оракула.

Конечно, из всех наших стараний “монополизировать” на Низовом Поволжье саратовскую торговлю-промышленность и лишить Камышин железной дороги ничего не вышло. Было Высочайше утверждено общество Рязано-Уральской железной дороги и положение о новых рельсовых путях. Это ошеломило некоторых гласных, и один из них, В. И. Соколов, выслушав доклад об этом в думе, воскликнул: “Очевидно, на Саратове поставлен крест и он обречён на захудание”...

Но почтенный гласный, как и его единомышленники, ошибался. Саратов не только ничего не проиграл, он очень много выиграл во всех отношениях. С него окончательно была сложена железнодорожная рента. Развитие и оживление его соседних уездных городов ни в чём и никак не повлияли дурно и гибельно на Саратов. Подтвердилась старая, как мир, истина: “хочешь жить сам, давай жить другим”.

В связи с только что законченным фазисом железнодорожного вопроса возник и потребовал разрешения другой — о вознаграждении города за отчуждённые под сооружения железной дороги городские земли, который уже несколько лет находился в неопределённом, висячем положении. И хотя он был решён несколько позже 1891 г. — кажется, в 1892 или 1893 г., удобнее, ради цельности впечатления, теперь же исчерпать все обсуждения, соединённые с железной дорогой, и забежать несколько вперёд.

Городские представители настаивали на сумме, определённой в конце восьмидесятых годов оценочной комиссией. Председатель правления Рязано-Уральской железной дороги И. Е. Ададуров на вопрос городского головы о том, какую сумму правление склонно дать городу за его земли, безмолвно своим указательным перстом начертил в воздухе круглый нуль. От этого жеста пришёл в восторг “Саратовский дневник”, во главе которого тогда стоял Б. А. Маркович; он неоднократно вспоминал жест Ададурова, находя его метким, остроумным и целесообразным. Восторги и дифирамбы “Дневника” ясно показывали, что железнодорожники прибегли к содействию и услугам местной прессы в лице Марковича. Нам всем ведомо, что услуги не проходят даром. Начали торговаться...

Железнодорожники возбудили вопрос о переводе управления из Саратова. С этим переводом выехали бы из Саратова сотни семейств, что могло повлечь за собою квартирный кризис — падение платы за квартиры. Такая возможность напугала гласных-домовладельцев, опасавшихся, что их дома и квартиры будут пустовать, что выезд сотен семейств вредно отразится также на местной торговле, а следовательно, и на городских доходах. Поторговались и в конце концов сошлись на 100 тыс. руб., но с тем, чтобы в акт отчуждения было включено обязательство железной дороги не переводить из Саратова управления. Полученные городом 100 тыс. руб. пошли в пособие казне на среднее техническое училище в Саратове.

Но в конце девяностых годов, или в самом начале двадцатого столетия, железная дорога, несмотря на данное ею обязательство, вновь возбудила вопрос о переводе управления из Саратова. Она отказалась от своего намерения только тогда, когда саратовское общество купцов и мещан согласилось построить на Старособорной площади, на месте Старого гостиного двора, этого архитектурного памятника, большое, грандиозное четырёхэтажное здание, в котором теперь помещаются все службы и отделы управления Рязано-Уральской железной дороги.

Впоследствии, спустя год, началось обсуждение по поводу устройства железнодорожной пристани на Волге, и в 1892 г., согласно постановлению думы, мне опять пришлось ездить в Петербург. Но об этом после в своём месте.

Трёхсотлетие Саратова

**Академические споры о годе основания Саратова. — Приготовления к празднованию. — Экскурсия Архивной комиссии на историческую колыбель города. — Юбилейная комиссия. — Разработка и изготовление памятного жетона. — Юбилейные торжества. — Некорректное выступление А. Н. Епифанова. — Раздача жетонов и “Каносса” Епифанова. — Обширная записка В. П. Соколова по истории Саратова. — Торжественная кантата, исполнен-**

**ная на Театральной площади. — Фотография с картины Вебера**

О времени основания города сначала между нашими историками и археологами не замечалось единогласия. Колебались между 1589 и 1591-м годами. На эту тему шли академические споры, которые порешила случайность. В Казани было найдено какое-то старинное евангелие, в котором где-то на полях или на обложке было кем-то рукописно отмечено, что в один из весенних месяцев 1591 г. воевода такой-то по царскому указу отплыл вниз по Волге для закладки на низовье города Саратова. Эта заметка неведомого автора устранила все колебания, и местная губернская учёная Архивная комиссия окончательно фиксировала 1591 г. как год основания Саратова, а городское управление решило днём празднования трёхсотлетнего юбилея назначить 9 мая 1891 г.

Но приготовления начались задолго до этого дня. Приготовления и разработка подробностей празднования велись в двух направлениях: Архивная комиссия была озабочена составлением исторической записки, приуроченной к событию, а городское управление разрабатывало программу юбилейных торжеств.

В конце апреля 1890 г., следовательно, больше чем за год до празднования, Архивная комиссия во главе со своим председателем князем Л. Л. Голицыным предпринимала экскурсию на историческую колыбель г. Саратова — на левый берег Волги в окрестности слободы Покровской, на место, где впервые был основан наш город и где, как говорят историки, он просуществовал очень недолго, пока не был разорён и сожжён дикими степными кочевниками, после чего он был перенесён на правый берег Волги. В экскурсии принимал участие и пишущий эти строки. Все участники её потом снялись отдельной фотографической группой, которую поднесли князю Л. Л. Голицыну. Снимки эти имеются в Архивной комиссии и воспроизведены в одном из её изданий. Я тогда же поместил в “Саратовском листке” (1 мая 1890 г.) статью под заглавием “Поездка на историческую колыбель г. Саратова”.

Городское управление избрало особую юбилейную комиссию, но работа по юбилею лежала ближайшим образом на мне как на заведующем распорядительным отделением управы. До вступления Епифанова в должность городского головы я председательствовал в юбилейной комиссии, по мере надобности время от времени я собирал её, руководил заседаниями, формулировал заключения, исполнял её постановления. Бывали случаи, когда приходилось решать разные юбилейные дела и без комиссии, почти единолично.

Так было с формой юбилейного жетона. Нужно было придумать форму жетона, составить его описание, которое, вместе с рисунком проекта формы, представить на утверждение министра. Я долго размышлял: сделать жетон круглым — он будет походить на медаль, и шаблонно, да, пожалуй, и не утвердят; дать ему многоугольную или четырёхугольную форму — будет напоминать жетоны страховых обществ. Город тогда своими художниками не располагал: рисовальное училище при музее было открыто в 1896 г. В раздумье над этим жетоном застал меня однажды присяжный поверенный В. Ф. Лятощинский, как-то зашедший в городскую управу по делу. Ему я поведал мои колебания и думы о форме жетона. Он посоветовал придать ему щитообразную форму. Я ухватился за эту мысль, и мы совместно набросали контуры и абрисы жетона. Я дал эту тему в техническое отделение управы, там, согласно моим указаниям, составили рисунок проектированного жетона с лицевой и оборотной сторон. Я сочинил надписи для обеих сторон, составил подробное описание рисунка и проект формы жетона.

Всё это я внёс на утверждение городской управы ещё до выбора Епифанова. Управа согласилась со всем составленным мною, и в таком виде ходатайство города, чрез губернатора, пошло на утверждение министра. Министерство не задержало нашего ходатайства, и спустя полтора или два месяца мы получили представленные нами рисунок и описание его всецело, полностью утверждёнными без малейших изменений и дополнений.

Изготовить жетоны нашли более выгодным и удобным в Москве, куда с этой целью был командирован гласный И. В. Хлестов. Жетоны были заказаны трёх сортов: золотые (в очень ограниченном количестве), серебряные позолоченные и бронзовые позолоченные. С выполнением заказа вышло некоторое недоразумение. За несколько дней до празднования их доставили из Москвы в заказанном количестве, но оказалось, что в тексте из псалма “помянух дни...” вкралась неточность, а именно: вместо “древния” было отчеканено: “древнии”. Я не придавал серьёзного значения этому несущественному уклонению от текста псалтиря. Но Епифанов с этим не согласился, и жетоны были отданы, уже в одну из саратовских мастерских, для переделки “и” на “я”.

Не буду описывать подробно юбилейные торжества. Такое описание можно найти в наших местных газетах. Торжественное богослужение в кафедральном соборе, затем парад войскам и городским школьникам на Театральной площади, где совершался торжественный, благодарственный молебен, исполнение юбилейной кантаты; парад принимал, кажется, Косич. После — торжественное заседание городской думы и съезд в её зале представителей разных ведомств и депутаций, приносивших поздравления юбиляру. Затем, в 4 часа пополудни, обед от города в зале Радищевского музея с обычными тостами, речами, чтением телеграмм и пр. Меню обеда с виньетками и рисунками вида Саратова по Олеарию на толстом атласном золотообрезном картоне было сфотографировано. На обеде, между прочими гостями, я припоминаю почётного гражданина нашего города М. Н. Галкина-Враского.

На торжественном съезде в зале думы мне очень не понравилось одно выступление Епифанова. По открытии заседания, не имея за собой не только постановления думы, но даже комиссии или управы, с которыми он не советовался и не обсуждал открытия бесплатных народных читален, он объявил торжественно, как о факте уже совершившемся, об открытии этих читален на окраинах города в ознаменование юбилея. Заявление, конечно, вызвало аплодисменты, но это был трюк, выражаясь театральным языком, саморекламное выступление “под занавес”. Но оно было “неконституционно” и некорректно по отношению к своим ближайшим сотрудникам по управе. Я принципиально не допускал такого муниципального “самодержавия”, о чём не преминул заявить после съезда и собрания в частной беседе Епифанову. И тогда же я предрешил свой уход из управы в адвокатуру...

Всем городским служащим и приглашённым были розданы жетоны. С их раздачей имел место инцидент, который едва не повлёк за собою отставки А. Н. Епифанова. Случилось следующее.

Я уже говорил, что золотые жетоны были изготовлены в ограниченном количестве и предназначались для всеподданнейшего поднесения Государю императору, затем для вручения министрам, губернатору, архиерею и особо почётным гостям вроде Галкина-Враскина. Старшим председателем Саратовской судебной палаты был Фёдор Фёдорович Иванов — из правоведов, чванный, барственно важный, не всегда сдержанный на язык, любивший часто становиться на генеральские ходули, но в общем довольно симпатичный и корректный судья. Ему вручили, как и всем прочим, серебряный позолоченный жетон. Но Иванов узнал, что не только министрам, но и губернатору вручён золотой жетон.

Прошло два-три дня после празднования юбилея, и в городскую управу явился судебный пристав судебной палаты Платон Федосеевич Снежинский и от имени старшего председателя возвратил Епифанову жетон вместе с его письмом, при котором жетон был отправлен. Снежинский пояснил, что такого жетона “господин старший председатель” принять не может, что ему должны были вручить золотой жетон.

Епифанова очень растревожил этот возврат, и он, волнуясь, в беспокойном темпе, консультировал со мной по этому поводу, упомянув, что ввиду этой неприятности готов выйти в отставку. Я ему советовал не обращать внимания на этот случай, так как жетоны по категориям распределялись юбилейной комиссией. Выходить же в отставку из-за такого генеральского каприза неудобно, нецелесообразно и даже неприлично, роняя звание общественного избранника.

Но Епифанов поступил по-своему: он запасся золотым жетоном и дал знать Иванову, что готов вручить ему. Иванов потребовал, чтобы Епифанов лично явился в Палату для вручения. Епифанов согласился. Был назначен особый день, когда Иванов созвал общее собрание департаментов Палаты. И вот в это многолюдное и торжественное собрание явился Епифанов со своим золотым жетоном. Но прежде чем принять его, Иванов прочёл маленькое наставление, пояснив, что губернатор ведает одну только губернию, а под его, Иванова, судебным владением состоит семь губерний: Саратовская, Тамбовская, Астраханская и др. Поэтому если губернатору вручили золотой жетон, то Иванов тем более заслуживает его. Епифанов выслушал, поклонился, извинился и вручил Иванову золотой жетон. Этой палатской для Епифанова “Каноссой” инцидент был исчерпан и ликвидирован.

Дополняю юбилейные воспоминания. На торжественном заседании в зале Дворянского собрания я 9 мая 1891 г. читал по рукописи историю г. Саратова, составленную членом Архивной комиссии В. П. Соколовым, который за особую плату от города, в сумме 500 рублей, срочно и экстренно изготовил её, предоставив свой труд всецело в распоряжение города. Записка была обширная, и я читал её с значительными сокращениями. Не знаю, какая судьба в дальнейшем постигла этот учёно-исторический труд почтенного члена, а потом и председателя Архивной комиссии В. П. Соколова, так как спустя месяц или полгода после празднования я ушёл из управы. Сколько мне известно, работа Соколова городом издана не была, а, вероятно, хранится при юбилейном деле городской управы, если только оно уцелело до сего времени.

Решили мы ещё в 1890 г., чтобы ко дню городского юбилея была изготовлена, для торжественного исполнения на празднике, особая юбилейная кантата. Требовалось сочинить подходящее либретто и переложить его на музыку.

Нужны были поэты и музыканты. Музыкант у меня был под рукою: директор музыкальных классов С. К. Экснер. Я обратился к нему с просьбой взять в свои руки это дело. Он, как и всегда на мои просьбы, охотно и любезно согласился. Нашёлся и поэт в лице члена Саратовской судебной палаты Прокопия Андриановича Устимовича, издававшего тогда в Саратове филантропический журнал “Братскую помощь” и писавшего в ней и стихами и прозой под псевдонимом “Полтавин”. Он написал довольно обширный текст кантаты в стихах, начинавшийся так: “Ширью могучею Волга великая...”. С. К. Экснер сочинил музыку, переложив кантату для хора с аккомпанементом. Кантата получилась торжественная, лёгкая для исполнения и мелодичная, красиво разнообразная по музыке. Печатную партитуру кантаты (издание Юргенсона) с автографом П. А. Устимовича я и С. К. Экснер в роскошной папке передали в собственность Саратовского общества истории в феврале 1921 г.

Кантата была исполнена 9 мая 1891 г. на Театральной площади под управлением автора — композитора Экснера грандиозным хором городских школьников и учащихся.

История кантаты имеет одну иллюстрацию. Существует в Архивной комиссии фотографическая группа, изображающая в разных позах А. И. Косича, П. А. Устимовича, В. Д. Вакурова, С. К. Экснера и пишущего эти строки. Фотография является снимком с картины художника Вебера, исполненной на полотне масляными красками по заказу П. А. Устимовича. Эта группа приурочена к сочинению кантаты. Косич и Устимович сидят на диване, сзади него стою я с Вакуровым, а Экснер сидит пред открытым роялем. Внизу подпись: “Ширью могучею Волга великая...”.

Художник Вебер имел в руках только наши фотографии, снятые в указанных и нужных ему позах. Вот эти фотографии он скомпоновал в одну цельную картину, воспроизведя на полотне каждую фигуру со снимка. Где находится подлинная картина Вебера, я не знаю. Полагаю, что, по всей вероятности, она осталась в имуществе и вещах заказчика П. А. Устимовича, скончавшегося за границей в Наугейме летом 1900 г.

Присяжный поверенный

**В буднях всё более выяснялось “муниципальное самодержавие” Епифанова. — Служить “без конституциев”. — Капля, переполнившая чашу терпения. — Переход из управы в адвокатуру. — Месяцы ожидания ответа из Синода. — Впервые в жизни пришлось прибегнуть к протекции. — Единогласное избрание в присяжные поверенные. — Идеализация адвокатской профессии. — Большинство в адвокатской среде прицеливалось лишь к рублю. — Недоброжелательство коллег. — Родные находили профессию адвоката не вполне... приличной. — И всё же раскаиваний не было. — Почётная повинность казённых защит. — Исполнение обязанностей гласного в думе. — Безрадостные вести о полном неурожае. — Меры городских**

**властей против голода. — Сыпной тиф и холера**

“Догорели огни, облетели цветы” юбилейных торжеств, наступил трудовой, рабочий день с его “злобами”, серенькими, будничными нуждами, заботами, запросами. С каждым днём всё более и более выяснялся тот режим, который Епифанов принёс с собой в городскую управу. Я уже говорил об его качествах и свойствах как общественного деятеля, которые развёртывались всё шире, ярче и рельефнее. Он заметно подражал московскому городскому голове Алексееву, который, как говорили, заявил, что он не признаёт деятельного вмешательства в его работу и намерен служить “без конституциев”. Но у Алексеева было очень много положительных свойств, которые совершенно отсутствовали у нашего саратовского избранника. Я предчувствовал, что у меня совместная с ним работа не пойдёт. Я не понимал и не допускал “муниципального самодержавия”. А между тем штрихи этой автократии стали обнаруживаться всё чаще и глубже.

Я присматривался, ждал, терпел и надеялся, что со временем всё “образуется”. Но мои надежды не оправдались и терпению настал конец. Как-то в конце мая я изготовил по одному обывательскому прошению о дворовых местах в окраинных кварталах проект постановления управы и дал его на предварительный просмотр Епифанову. Имею полные основания утверждать, что дело, по которому я составил проект, мне было более знакомо, чем ему, и с бытовой, и с юридической, и с документальной сторон, и я тщательно мотивировал постановление управы. Поэтому я был уверен, что я буду иметь возможность в скором времени дать надлежащий ответ просителям по ходатайству, с которым были связаны их жизненные, насущные интересы. Но прошла неделя, другая, а Епифанов всё держал мой проект без всякого движения. На мой запрос, просмотрел ли он проект и согласен ли с ним, Епифанов ответил как-то неопределённо и, мне показалось, небрежно.

Этого было довольно, чтобы я принял определённое решение. Это была капля, которая переполнила чашу моего терпения. Я немедленно же подал заявление о сложении должности члена городской управы и заступающего место городского головы. Я принял бесповоротное решение и облегчённо вздохнул, когда вышел на свежий воздух из стен управы после двенадцатилетнего пребывания в них.

Немедленно же я предпринял ходатайство о зачислении меня в присяжные поверенные. Тогда совета присяжных поверенных не было, и его обязанности исполняло общее собрание отделений окружного суда, председателю которого я и подал прошение с нужными документами. Но встретилось препятствие: я состоял почётным мировым судьёй, и впредь до увольнения меня с этой должности председатель не находил возможным внести моё прошение на решение общего собрания. Я подал в мировой съезд прошение об увольнении. Съезд представил его в первый департамент Правительствующего Сената, от которого зависело это увольнение. Но проходили недели, месяцы, а из Сената никакого ответа не приходило. Прошли июнь, июль, август, сентябрь — Сенат всё молчал. Тогда в первый раз в жизни я прибегнул к протекции. Узнав, что обер-прокурором первого департамента Сената состоит товарищ по школе и добрый знакомый П. А. Устимовича, я обратился к последнему с просьбой оказать мне содействие. Он охотно и любезно согласился и послал телеграмму обер-прокурору. Только тогда, спустя неделю или полторы, в съезде был получен указ Сената об увольнении меня от почётного судейства.

В самых последних числах октября 1891 г. моё прошение было внесено в общее собрание отделений суда, и я единогласно (на этот предмет ещё председатель Завадский установил закрытую баллотировку) был избран в присяжные поверенные.

Таким образом я вступил в новую, хотя и несколько знакомую мне область деятельности. Нужно сознаться, что, несмотря на свои уже довольно зрелые годы, я идеализировал адвокатскую профессию. Мне она представлялась благородной, рыцарственной, самоотверженной, откликавшейся всегда на крик: “помогите!”, откуда бы он ни исходил. Балалайкины Щедрина не затуманили, не затенили моего идеала. Эти типы нашего великого сатирика мне казались карикатурами, которые всегда возможны и применимы даже к самым идеальным, самым положительным сторонам и явлениям жизни.

Действительность, когда я перешагнул порог адвокатских “апартаментов” в здании суда и освоился с окружающей обстановкой, не оправдала моих идеальных представлений. За весьма ничтожными исключениями, в адвокатской среде громадное большинство было очень далеко от каких-либо идейных тенденций по отношению к своей профессии. Пушкин ставил себе в особенную заслугу то, что он “милость к падшим призывал”. Этот стих нашего великого поэта должен быть девизом, руководящим лозунгом присяжной адвокатуры. Но, насколько я имел случай наблюдать, этот лозунг у значительного большинства представителей нашей адвокатуры находился в полном совершенном забвении. Большинство наметило для себя и преследовало одну определённую цель: наживу и прицеливание к рублю во что бы то ни стало. Конечно, в суровой борьбе за существование надо было добывать средства к жизни лично себе, своим семьям. В нудных заботах этой борьбы так естественно забыть высокие идеи и святые заветы, о которых много думалось и говорилось в молодые студенческие годы.

Когда я сознал это и до некоторой степени примирился с такой общечеловеческой слабостью, я понял, почему моё вступление в ряды присяжной адвокатуры некоторыми из моих коллег было встречено с трудно скрываемым и плохо замаскированным недоброжелательством и неудовольствием: во мне, ввиду моих обширных знакомств в торгово-промышленных кругах, усматривали очень опасного конкурента.

С таким же неудовольствием и неодобрением моё вступление в адвокатуру было встречено некоторыми из моих родных, но по другим основаниям: они находили эту профессию не вполне... приличной и соответствующей тем житейским условиям, в которые я поставлен судьбою и всей моей жизненной обстановкой. Они были твёрдо убеждены, что вновь явленные адвокаты — это те же перелицованные, приглаженные, окультуренные старые приказные, подъячие, ходатаи и прочие разновидности дореформенной адвокатуры, одетые во фраки и поставившие своею целью морочить, обманывать и обирать тяжущихся, с одной стороны, а с другой — втирать очки в глаза судьям. Я, конечно, старался разуверить их, но, кажется, безуспешно...

Сознаюсь, что адвокатура, когда я стал к ней вплотную, напомнила мне декорации, которые кажутся издали красивыми, изящными, манящими взор, а вблизи представляют грубо намалёванное полотно. И всё же я ни одной минуты не раскаивался, что вышел на эту дорогу. Несмотря на все её минусы, я всё-таки отдыхал после управской и думской сутолоки. Ведь в жизни не одна адвокатура, а и многое другое напоминает декорации, о которых я сказал выше.

Кроме того, присяжная адвокатура несла очень почётную повинность, это — казённые защиты в делах уголовных и ведение гражданских дел тяжущихся, пользующихся правами бедности. Та и другая обязанности выполнялись совершенно бескорыстно и нередко требовали значительной затраты сил, времени, энергии, досуга, случались сложные казённые защиты, которые длились 2 — 3 дня подряд. Конечно, не все одинаково внимательно и рачительно относились к исполнению этой повинности, но могу удостоверить, что многие вели порученные им судом дела с полным усердием не только за страх, но и за совесть...

Итак, я заделался присяжным поверенным. Практика стала налаживаться понемногу только в декабре, и я располагал значительным и до тех пор почти совершенно мне незнакомым досугом. Это давало мне возможность аккуратно исполнять обязанности гласного думы и члена разных комиссий.

Я исправно посещал заседания думы. Вместо меня был избран в члены управы и заступающим место городского головы состоявший до того времени городским юрисконсультом присяжный поверенный Н. П. Фролов, сменивший потом Епифанова на кресле городского головы.

Изредка я заглядывал по делам и в управу. Там царило настроение невесёлое, озабоченное. Отовсюду, чуть ли не со всей России, приходили тяжёлые, безотрадные вести о полном неурожае. Ярко и определённо вырисовывался голодный год и в нашей губернии. Следовательно, и в нашем городском управлении предстояли серьёзные и хлопотливые мероприятия по обеспечению продовольствием городского населения.

Уже в половине июня 1891 г. поступило циркулярное предложение губернатора о том, чтобы городское управление заблаговременно приняло меры против грядущего народного бедствия. 25 июня предложение было внесено на разрешение городской думы при особом докладе городского головы. Продовольственные мероприятия нашего городского управления в голодные 1880 и 1891 гг. я подробно изложил в своей статье “Борьба с голодом в г. Саратове в неурожайные годы конца девятнадцатого столетия”, в августе 1922 г. переданной мною в распоряжение Саратовского общества истории, археологии и этнографии, и не буду здесь повторяться.

Замечу, впрочем, что в 1891 г. городское управление в продовольственном деле почти целиком повторило то, что было сделано в этом направлении нашим городом в 1880 г., с тою лишь разницею, что в 1880 г. как правительство, так и земство не принимали почти никаких мер для продовольственного обеспечения деревни и уезда, и это очень неблагоприятно отражалось на борьбе города с голодом, так как голодная деревня большими толпами шла в город “на прокормление” и в поисках работы.

Теперь же, в 1891 г., правительством и земством были приняты в большом масштабе меры к полному обеспечению продовольствием и обсеменению деревни и уезда. Попытка немецких колонистов Самарской губернии в январе 1892 г. воспользоваться Саратовом для “прокормления” была остановлена в самом начале административными мерами. Поэтому борьба с голодом в 1891 г. протекала в нашем городе при более благоприятных условиях. Хотя всё же немцы успели занести к нам сыпной тиф, против которого город вынужден был принять длинный ряд дорогостоящих мер. В общем продовольственная кампания 1891 г. и борьба с тифом были закончены совершенно благополучно. Но тиф начала 1892 г. явился предвестником грядущей большой напасти в виде страшной и сильной холеры, которая разразилась вполне летом 1892 г., сопровождаемая уличными погромами и беспорядками.

На заседании Комитета министров и Государственного совета

**Споры с железной дорогой о месте устройства пристани на Волге. — Опять ходатаем в Петербурге. — Хождения посланцев думы по высшим правительственным сферам. — Беседа со статс-секретарём Комитета министров Куломзиным. — Чай с печеньем в кабинете министра путей сообщения С. Ю. Витте. — Представление саратовской депутации председателю Комитета министров Н. Х. Бунге. — Епифанов телеграммой вызван в столицу.**

**— На заседании Комитета министров и Государственного совета**

Весною 1892 г. в нашем городском управлении всплыл очень важный вопрос, который, по постановлению думы, опять потребовал моей поездки в Петербург, хотя я уже около года не состоял в составе управы. У рязано-уральцев усиленным темпом шло строительство. В их планы входило, между прочим, и обустройство речной пристани на Волге. Пристань они решили почему-то строить на Увеке. Такое решение нарушало самые жизненные и насущные интересы Саратова как торгово-промышленного центра и противоречило концессии, по которой пристань должна быть у Саратова. В наших муниципальных сферах поднялась большая тревога, и вопрос о пристани был внесён на рассмотрение и обсуждение городской думы, которая признала необходимым через особую депутацию заявить в Петербурге в высших правительственных сферах надлежащий протест против действий и намерений рязано-уральцев в устройстве пристани и, основываясь на утверждённой концессии, представить соответствующее ходатайство. В депутацию были назначены думою я, Г. Г. Дыбов и Н. П. Фролов.

В последних числах мая мы, избранные депутаты, были уже в Петербурге. Начались хождения по высшим правительственным сферам. Нам необходимо было лично выяснить сущность и основания нашего протеста и ходатайства в Комитете министров и у министра путей сообщения, каковым тогда состоял С. Ю. Витте. С этой целью мы добились представлений у статс-секретаря Комитета министров Куломзина, у председателя Комитета министров Н. Х. Бунге, проживавшего тогда в царскосельском дворце, и у Витте.

От беседы с Куломзиным у меня в памяти остались следующие эпизоды. Он выразил удивление, когда узнал наши профессии: депутатами являлись два присяжных поверенных и один нотариус. “В данном деле, — заметил он, — представителем от города должен быть купец, торговец, промышленник, а не юрист”.

Нельзя сказать, чтобы это замечание являлось комплиментом по нашему адресу и предвещало благоприятное и сочувственное отношение к нашим объяснениям и ходатайствам. Тем не менее Куломзин очень внимательно выслушал нас, и из его реплик на наши объяснения видно было, что он вполне в курсе данного вопроса и отлично ориентируется во всех его специальных и местных частностях и тонкостях. Одно из его замечаний было очень характерно и откровенно. Когда кто-то из нас заметил, что пристань на Волге должна быть у Саратова, согласно Высочайше утверждённой концессии, и таким образом рязано-уральцы, устраивая пристань на Увеке, нарушают Высочайшее повеление, то Куломзин деликатно и спокойно проговорил: “Будемте, господа, говорить серьёзно: что такое в данном деле Высочайшее повеление? Нынче одно повеление, завтра напишем иного содержания, оно будет подписано, и явится другое...”.

В конце концов Куломзин стал как бы нашим инструктором; указал на необходимость назначения по нашему делу соединённого заседания Комитета министров с одним из департаментов Государственного совета и на возможность допущения нас на это заседание для личных объяснений, но с тем непременным условием, чтобы к нам был обязательно присоединён купец...

Мы послали телеграмму Епифанову, приглашая его прибыть в Петербург, а сами продолжали наши хождения по канцеляриям и кабинетам министров. Были у С. Ю. Витте и предприняли поездку в Царское Село для представления Н. Х. Бунге.

Витте принял нас в один из праздничных или воскресных дней в министерстве в своём рабочем кабинете, принял запросто — он был в чёрном сюртуке без всяких знаков отличия и каких-либо украшений, указывающих на его высокое положение. Принесли в кабинет планы, чертежи, фолианты канцелярских производств и... чаю с печеньями и сухарями. Было около 4-х часов дня, антракт между завтраком и обедом, поэтому чай оказался очень кстати. Наша беседа с Витте протекала непринуждённо. Он оказался вполне в курсе нашего дела во всех его подробностях и благожелательно относился к нашему ходатайству, но признавал необходимым провести вопрос о пристани через Комитет министров и департамент Государственного совета, ведающий железнодорожные дела. Он также упоминал о желательности и возможности нашего присутствия и участия в качестве представителей и ходатаев от города в этом заседании Комитета и Совета. Но допущение нас зависело ближайшим образом от Бунге.

Бунге принял нас в тот же праздничный день, и, насколько мне помнится, мы немедленно по выходе от Витте сели на царскосельский поезд. Приём у Бунге не оставил никаких следов в моей памяти. Приём был простой, радушный, но это было представление по шаблону, по обычному церемониалу и трафарету. С нашим делом Бунге, очевидно, знаком не был, но ничего не имел против допущения нас в заседание Комитета и Совета.

По нашей телеграмме вскоре приехал Епифанов, и вскоре же после того мы получили приглашение прибыть в заседание Комитета министров и Государственного совета, назначенное в 1 час или 2 часа пополудни. Мы припарадились и отправились вчетвером.

Заседание происходило в Мариинском дворце. Нас посадили всех рядышком против того центрального места, которое занимал председатель. Наше дело слушалось первым. Докладчик был Витте. Он занял место у большой чёрной доски, какие бывают в классах учебных заведений. На доску были повешены планы и чертежи проектируемых и сооружаемых рельсовых путей по берегу Волги у Саратова и ниже его. Витте доложил высокому собранию сущность дела, указывая в соответствующих местах доклада палочкой, напоминающей капельмейстерскую, на планах и чертежах те пункты, станции, пути, пристани и берега, о которых шла речь. Доклад длился с полчаса, после чего было предоставлено слово нам. С нашей стороны говорил один Епифанов. Прения, совещание и постановление последовали, конечно, уже в нашем отсутствии.

Этим заканчивалась наша миссия, мы добились благоприятного для города результата.

Помню сырой, промозглый, серый петербургский день первых чисел июня, когда мы уезжали из Петербурга. Я был одет в толстое драповое пальто на вате, и такое одеяние по температуре воздуха было в самую пору. А в Саратове застали сильную жару и... такую же холеру.

Антихолерные уличные беспорядки

**Особенности преступной толпы. — Случаи уличных выступлений низов населения в Саратове. — “Народная толпа: то, что она сделает, никому неизвестно и ещё менее ей самой”. — 29 июня 1892 г.: странное, пугающее безлюдье в праздничный день. — Скопище тревожного и нервного люда на Никольской улице. — В вагоне конки сквозь массы людей. — Залпы по бесчинствующей толпе. — Полковник Фёдоров останавливает беспорядки. — Подробности антихолерного бунта. — Провокатор на базаре. — Искра, брошенная в сильно подогретый, страшно горючий материал. — Дикие выходки и зверства толпы. — Убийство подростка. — Разгром городской больницы. — 5 — 6 часов город был во власти разъярённой толпы. — Ввод войск прекращает погромы. — Аресты и следствие. — Предание “холерни-**

**ков” военному суду. — Приговор суда**

Городское управление всецело и почти исключительно было занято принятием мер против ужасной азиатской гостьи. Строились бараки, учреждались приёмные покои, устанавливались непрерывные врачебные дежурства. В этом направлении работали и город, и земство, и Красный Крест, и военное начальство. Местные газеты пестрели приказами об очистках, осмотрах, вывозах нечистот, наставлениями врачебного свойства и т.п.

Я жил с семьёй на даче близ города, рядом с институтом благородных девиц, но ежедневно бывал в городе, пользуясь мимо проходившей конкой. Близился конец июня, а вместе с ним пришли тревожные дни антихолерных уличных беспорядков, свидетелем которых мне довелось быть...

По мнению юристов, психиатров и психологов, преступная толпа, коллективный преступник, совершая преступные деяния, имеет свои особенности, проявляет такие специфические свойства, которые подлежат строгому научному анализу. Саратовская уличная толпа в этом отношении, конечно, не составляет исключения.

Я уже говорил об одном из её выступлений, выразившемся в разгроме дома купца Парусинова. В своём месте я забыл упомянуть о её втором выступлении, о котором знаю только по слухам. Случилось это 19 февраля 1880 г., когда мы, по случаю двадцатипятилетнего юбилея царствования Александра Второго, большим избранным обществом обедали по подписке на собственные деньги в Коммерческом собрании (клубе). Год был неурожайный, голодный. Пользуясь этим, кто-то пустил в народ слух, что царь прислал 25 тыс. руб. на кормление голодающих, а “господа и купцы” на эти деньги устроили в клубе для себя обед. Собралась толпа, которая разгромила несколько маленьких лавчонок на Верхнем базаре. Но эти беспорядки были скоро остановлены мерами полиции, не прибегая к содействию военной силы, хотя рота солдат в течение двух суток охраняла квартиру и дом городского головы Недошивина, а в казармах воинские части были наготове.

Третье выступление громящей уличной толпы происходило на моих глазах. Это были антихолерные беспорядки, разразившиеся в Саратове 29 июня 1892 г. Впоследствии, уже в двадцатом столетии, я был свидетелем еврейских погромов в Саратове. Все эти события, свидетелем которых я был, а также моё участие в суде сословных представителей по делам о массовых народных беспорядках, а позже, уже в качестве адвоката, в процессе об антихолерных саратовских беспорядках убедили меня в справедливости слов Карлейля. “Народная толпа, — говорит он, — настоящий продукт природы. Смотри на народную толпу, если хочешь, с трепетом, но смотри внимательно: то, что она сделает, никому неизвестно и ещё менее ей самой”. На эту тему имеется уже целая литература, которую разрабатывают юристы и психологи. На русском языке известны “Преступная толпа” Сегеле (перевод с французского), “Герой и толпа” Н. К. Михайловского и др. Но яркой, правдивой, художественной и гениальной иллюстрацией действий преступной толпы и её настроений является описание в “Войне и мире” Л. Н. Толстого сцены убийства Верещагина...

Возвращаясь к событиям 29 июня 1892 г., замечу, что все войска, квартировавшиеся в то время в Саратове (40-я пехотная дивизия с артиллерийской бригадой), ещё в мае были выведены из города и находились в лагере по Астраханскому тракту. По газетам и по слухам было известно, что в некоторых городах Поволжья уже были холерные бунты с убийством врачей, сожжением больниц и проч. Определённо говорили и о том, что у нас, в Саратове, днём такого бунта назначен праздник — 29 июня, Петров день. Это я слышал лично сам, и 28 июня, при случайной встрече с исправляющим должность прокурора суда М. Я. Лавровым, сообщил ему об этом. Но он успокоил меня, заявив, что приняты надлежащие меры. В чём заключались эти меры, я не знаю: Лавров их мне не поведал. Но 28 июня войска из лагеря с музыкой и знамёнами были приведены в город, церемониально промаршировали по некоторым из его улиц и снова вернулись в свою лагерную стоянку. По-видимому, как это оказалось впоследствии, “принятые меры” и ограничились этой военной прогулкой.

А тем временем легковерная, легкомысленная, быстро возбуждаемая, глупая уличная толпа низов городского населения насыщалась нелепыми и вздорными слухами о том, что врачи получили “от англичанки” деньги с приказом под видом холеры морить и уничтожать русский народ, отравлять реки, хоронить живых и т.п. По-видимому, в этом деле работала какая-то “посторонняя рука” по определённому плану, по выработанной и заранее намеченной системе. Есть основание предполагать, что эта “рука” не принадлежала к низам населения, а умышленно, заведомо вводила в заблуждение тёмную массу, преследуя какие-то свои таинственные цели. Была ли это “рука” “левая” или “правая” — сказать трудно... Результаты такого насыщения низов населения не преминули проявиться 29 июня.

Хотя этот день был праздничный и табельный, неприсутственный, мне почему-то представлялась надобность на короткое время заглянуть в город. Успокоенный “принятыми мерами”, я сел в вагон конки и через 15 — 20 минут был в городе. Было часов 11 — 12 утра, когда я, побывавши, где мне нужно было, решил также на конке вернуться на дачу. Когда я, только приехав в город, пошёл по улицам, меня удивил их безлюдный, пустынный вид. Погода стояла хорошая, ясная, жаркая, а между тем на улицах царила полная пустота: не видно было ни пешего, ни конного, и бросалось в глаза полное отсутствие обычных полицейских постов на углах. И это замечалось на центральных, самых бойких и обычно самых людных улицах. И если бы не конка с вечно дребезжащими вагонами и звонками, то можно было бы подумать, что находишься в вымершем городе. То же странное и не поддающееся объяснению безлюдье я заметил и тогда, когда направлялся на угол Московской и Никольской улиц к пассажу, чтобы сесть в вагон Константиновской линии.

Но здесь я уже встретил значительное скопление народа, который тревожно, нервно сновал по Никольской ул. по направлению к Немецкой ул. и Соборной площади. На всём протяжении от Московской и до Немецкой двигались беспорядочные толпы народа, в большинстве из низов населения: рабочие, мастеровые, мелкие торговцы, ночлежники и т.п.

С большим трудом я нашёл себе место в вагоне, который был переполнен сверх нормы. Когда я садился в вагон, то в стороне Немецкой улицы и Соборной площади раздался ружейный залп. После такого предостережения благоразумие должно бы было мне подсказать, чтобы не двигаться в том направлении. Но я пренебрёг голосом благоразумия и не оставил вагона, который, медленно двигаясь среди заполнившего улицу народа, дошёл до лютеранской церкви.

Там толпа народа была такая плотная, что вагон дальше уже не мог идти и мы вынуждены были его оставить. Я сошёл на тротуар в сторону дома лютеранского общества, ближайшего к Немецкой ул. В это время раздался второй залп; слышно было, как просвистали пули; рядом со мной какой-то мужик был ранен в руку. Толпа шарахнулась в сторону Театральной площади, она галдела, кричала, орала, издавала неясные, нечленораздельные звуки, — всё это сливалось в оглушительный рёв, гул охваченной паникой бежавшей толпы. Она увлекла меня своим стремительным потоком.

Конка двинулась, и мне с трудом удалось выбраться из толпы и вскочить в медленно следовавший вагон. Теперь он шёл свободно, так как толпа, заграждавшая ему путь, значительно поредела; на мостовой, по мере движения вагона к Немецкой, в разных местах лежали убитые и раненые. Я видел, как одного из таких раненых поднимали на извозчика и обкладывали добытыми откуда-то подушками в цветных наволочках.

От того угла Немецкой ул., где теперь высится здание консерватории, а тогда был забор из каменных столбов с железными решётками и переплётами между ними, и до изгороди бульварной, где теперь стоит памятник, я заметил очень жидкую и редкую цепь солдат с ружьями. На всём этом протяжении их было не более 15 — 20 человек; сбоку стоял штаб-офицер, очевидно, начальствовавший над этой маленькой командой.

Впоследствии я узнал, что это был начальник штаба 40-й пехотной дивизии полковник Фёдоров. Он 29 июня находился в городе и утром, узнавши о возникших уличных беспорядках, наскоро собрал оставшихся в городе денщиков, вестовых, нестроевых — только 22 человека, вооружил их чем попало и принял над ними командование. С этим отрядом он преградил путь толпе, уже совершившей целый ряд преступлений и бесчинств и направлявшейся к зданию присутственных мест, где помещалось государственное казначейство с кладовыми.

По-видимому, толпа наметила разгром и разграбление казначейства. Фёдоров не допустил её к намеченной цели и требовал, чтобы толпа разошлась. На это требование толпа ответила руганью. Фёдоров предупредил, что будет стрелять боевыми патронами, но и это не подействовало: толпа отвечала гоготаньем. Фёдоров сделал залп холостыми зарядами. Его я и слышал, когда у пассажа садился в вагон конки. В ответ на холостой залп толпа начала бросать в солдат камнями и зашибла одного или двух солдат. Тогда Фёдоров распорядился, чтобы шесть человек из всей команды дали залп боевыми патронами, в результате — более 10 человек убитых и раненых в бунтующей толпе. Это был уже второй залп, который мы встретили, когда наш вагон приблизился к Немецкой улице.

Все подробности я узнал после, когда принимал участие в качестве гражданского истца в процессе о холерных беспорядках. Обнаружилось, что толпу кто-то уверил, что солдатам запрещено стрелять в народ.

Тогда же я документально узнал о начале и ходе этих беспорядков.

Они начались на Верхнем базаре ранним утром 29 июня с появления, как показывали свидетели, среди базарного люда человека в саване и обсыпанного чем-то белым — не то известью, не то мукой, не то мелом. Он уверял, что его хотели похоронить в городском холерном бараке живым, но ему удалось выскочить из гроба и спастись бегством.

Появление провокатора в саване было сигналом к началу беспорядков. Его рассказ явился искрой, брошенной в сильно подогретый, страшно горючий материал. Праздничный базар был многолюден, оживлён. Базарная толпа предшествующими слухами была подготовлена к тому взрыву, который последовал после слов провокатора, личность которого следствию, к сожалению, не удалось обнаружить. А обнаружение ответило бы на загадочный вопрос: кто создавал холерные беспорядки почти по всему Поволжью? Cui prodest?.. Кому выгодно?..

Толпа загорелась, заволновалась и ринулась громить полицейские части, бараки, больницы, квартиры врачей, преследовать и губить насмерть полицейских чинов всех рангов и всех, кто им напоминал доктора, фельдшера и вообще кого-либо из больничного персонала.

По дороге, где-то около Александровской улицы в районе Верхнего базара, толпа встретила сына учителя Пемурова, подростка-реалиста лет 16 — 17; он был в штатском костюме, но на голове его оказалась фуражка формы реального училища. По этому головному убору его приняли за фельдшера, бросились за ним в погоню. Он было скрылся на лесах строящегося дома, вбежал в верхние ярусы, но его нашли и там, стащили на улицу и били смертным боем до тех пор, пока он не испустил последнего дыхания. Но и после какая-то торговка пыталась разбить грудную клетку холодеющего трупа массивным булыжником, подобранным с мостовой, а другая под аккомпанемент дикого гоготанья толпы сделала труп несчастного мальчика местом отправления своих естественных надобностей...

Убегая от разъярённой дикой толпы, один из чинов полиции юркнул в дом Вакурова на углу Никольской улицы и Театральной площади, в котором тогда помещалась “Столичная гостиница”, успел там скрыться; толпа его не нашла, но в отместку за укрывательство выбила все стёкла в окнах верхних этажей.

В то же время другая толпа направилась к городской больнице, на пути разгромила квартиры полицмейстера и нескольких врачей, первую полицейскую часть на углу Ильинской и Немецкой улиц; причём книги, бумаги и дела полицейского участка были изодраны на мелкие куски и выброшены на улицу; двери были разбиты и поломаны, стёкла в окнах перебиты; полотно улицы перед зданием части было усыпано обрывками бумаги, кусочками стёкол и обломками дверей и оконных рам. По мере движения к городской больнице толпа, по-видимому, росла, увеличивалась; к ней примыкали ночлежники, праздношатающиеся и явно преступные элементы, которые пользовались редким и благоприятным случаем, чтобы поживиться чужим добром. Толпа раздроблялась, разделялась на отдельные банды, которые направлялись в ту сторону, где находились холерные бараки.

Одна из этих банд погналась за студентом-медиком Свиридовым, который успел скрыться в колокольне Владимирской (маминской) церкви на углу Астраханской и Большой Казачьей улиц. Толпа подступила к храму и хотела ворваться в его двери, чтобы проникнуть на колокольню, но навстречу ей вышел в облачении и с крестом в руках недавно перед тем рукоположенный молодой священник Андрей Шанский. Он преградил путь толпе и обратился к ней со словом увещания. Толпа, вначале протестовавшая и грозившая Шанскому, требовавшая выдачи Свиридова, потом смирилась, отхлынула от храма и направилась к городской больнице, где разгром уже начался и продолжался другой бандой. Таким образом Свиридов был спасён, а Шанский, не имевший до того никаких высочайших наград, сразу за своё самоотверженное выступление был пожалован очень высоким орденом Св. Владимира 4-й степени, дававшим тогда потомственное дворянство (отец Андрей Шанский расстрелян в сентябре 1919 г. у Саратова. — ***Прим. авт.***)...

Тем временем бунтующие банды работали около городской больницы. Они разгромили квартиру старшего врача Тринитатского: двери, окна, — всё было разбито, уничтожено, обстановка квартиры переломана, обломки её валялись на улице. Бунтари разыскивали врачей, чтобы покончить с ними, но это им не удалось. Не знаю, где укрылся Тринитатский, но ординатор больницы Брюзгин укрылся на нашей даче, которая находилась в нескольких саженях от городской больницы. Брюзгина, страшно напуганного преследованием толпы, у нас на даче остригли, обрили, надели на его глаза синие очки и отправили в военный лагерь, где он и находился несколько дней после 29 июня...

Разгром продолжался: был подожжён дом Плеханова, который снимался городом под холерный барак. Дом сгорал дотла, но больных успели спасти и никто из медицинского персонала не пострадал. Дом этот также находился недалеко от нашей дачи, и когда я, вернувшись к себе, осматривал по свежим следам результаты разгрома здания городской больницы, на южном горизонте ясного неба стоял густой и высокий столб пожарного дыма, сквозь который прорывались местами красные языки пламени. Это горел дом Плеханова...

Надо заметить, что всё вышеописанное совершилось в течение 5 — 6 часов, когда Саратов находился всецело во власти погромных банд. Все правительственные административные и полицейские власти разбежались, укрылись. Губернатор князь Б. Б. Мещерский укрылся в квартире старшего председателя судебной палаты Ф. Ф. Иванова; скрылся полицмейстер, все полицейские приставы, околоточные надзиратели и нижние полицейские чины; некоторые из них загримировались и оделись в штатское. Злые языки говорили, что губернатор лежал на квартире Иванова под кроватью... Городской голова Епифанов поспешил уехать на дачу. Таким образом, в течение этих 5 — 6 часов никакой власти, кроме дикой власти бунтующей толпы (“Власть тьмы”), в городе не было.

Только тогда, когда из лагеря пришли войска, прискакала артиллерия, когда Немецкая улица и Соборная площадь были заняты военными патрулями, а у выхода Немецкой улицы на площадь было поставлено артиллерийское орудие, жерлом обращённое к бульвару, когда начальник дивизии генерал Эллис устроил свою штаб-квартиру в гостинице “Россия” — на углу Немецкой и Александровской улиц, только тогда некоторые административные и полицейские чины повыползли из своих нор... Патрули были и на других улицах и площадях, и даже наши дачи охранялись некоторое время вооружёнными солдатами...

К часу или самое большее к двум дня беспорядки, ввиду прибытия войск из лагеря, были ликвидированы и сравнительно благополучно: единственной жертвой бушующей толпы оказался несчастный мальчик Пемуров, если не считать нескольких неповинных жертв, погибших во время залпов в толпу от случайных шальных пуль.

Когда после дачного обеда перед вечером 29 июня мы с женою отправились в город, чтобы осмотреть, всё ли в порядке на нашей городской квартире, то на улицах уже появился народ; напуганный обыватель по прибытии из лагеря войск ободрился и начал вылезать из своих логовищ. Власть самочинной, погромной толпы кончилась. По улицам мелькали солдатские рубахи, военные мундиры и местами показались полицейские чины... Залп сборной команды полковника Фёдорова на Соборной площади, свидетелем которого я стал, очевидно, был финальным аккордом холерного бунта...

Начались аресты, было приступлено к производству дознания, а затем предварительного следствия, в котором принимали участие несколько судебных следователей гражданского ведомства под ближайшим и непосредственным наблюдением нескольких чинов прокурорского надзора.

В числе обвиняемых и привлечённых к следствию лиц, наряду с низами городского населения, галахами-ночлежниками, мелкими базарными торговцами и торговками, уличными отбросами — алкоголиками, бездомниками, праздношатающимися, преступниками-рецидивистами, недавними обитателями тюрем и арестных домов и прочим людом, которому терять нечего, — наряду с ними среди привлечённых и серьёзно скомпрометированных находились очень зажиточные, даже, пожалуй, богатые домовладельцы и крупные торговцы и промышленники: мясной торговец и скотопромышленник Мордвинкин, известный на базаре и в городе под прозванием “Бараний задок”, и Калашников — сын местного собственника маслобойного завода. Эти обыватели, которых никоим образом нельзя причислить к тёмному, легковерному люду ночлежников и уличной толпе, имели наивность поверить нелепым и вздорным сказкам провокаторов-подстрекателей. Оба они были арестованы и содержались в тюрьме до суда. Мордвинкин попал в первую главную и очень многолюдную группу подсудимых и, как установлено свидетелями, принимал очень деятельное участие в погромах вообще и в разгроме первой полицейской части в особенности. Калашников судился во второй очень небольшой группе подсудимых, разбор дела которых по разным причинам был приостановлен и выделен из общей первой главной группы. Он был скомпрометирован меньше Мордвинкина и, кажется, попал в дело благодаря неосторожным и легкомысленным разговорам и распусканию неподлежащих слухов. Кажется, он был оправдан. Я участвовал в процессе первой главной группы, а о второй знаю только по слухам...

Последовало Высочайшее повеление о предании всех “холерников” военному суду для суждения их дела по законам военного времени. К осени 1892 г. следствие было закончено, обвинительные акты получили надлежащее утверждение, и 20 октября 1892 г. был уже назначен разбор дела первой главной группы.

В этом деле я выступал в качестве гражданского истца со стороны Вакурова, искавшего стоимость разбитых в его доме стёкол, и Общества взаимного страхования, уплатившего пожарные убытки за дом Плеханова и теперь возмещающего их с подсудимых. Разбор дела происходил в городских казармах (Московская площадь).

Всех подсудимых по первой группе было свыше 150 человек и свидетелей около 700 человек. Почти все подсудимые до суда содержались в тюрьме. Свидетели были разделены на несколько групп, которые, по приведении к присяге, были отпущены по домам с обязательством явиться в заседание суда в указанные им заранее намеченные числа. Два-три первых дня по открытии заседания суда происходили проверка и предварительный опрос подсудимых и свидетелей. Конечно, среди вызванных свидетелей были и неявившиеся. Но стороны находили возможным продолжать слушание дела, и оно началось с чтения обвинительного акта, которое длилось, кажется, два дня. Заседания проходили и в праздничные дни и разделялись перерывом для обеда. Поэтому заседали и вечером.

Председательствовал военный юрист в чине генерал-майора, в качестве его подручного и ближайшего помощника находился в составе также военный юрист в чине полковника; эти двое составляли как бы президиум, к которому в качестве членов суда были командированы три или четыре штаб- и обер-офицера из частей войск, квартирующих в Саратове. Один из таких офицеров в качестве запасного судьи сидел сзади судейских кресел всё время на случай болезни и выбытия кого-либо из наличных судей до окончания дела. За прокурорским столом находились два военных государственных обвинителя. Фамилии всех их я не помню. Остался в памяти только полковник Порай-Кошица, командированный в состав суда от местных войск. Рядом со мною в качестве гражданского истца со стороны отца убитого Пемурова, искавшего “за кровь сына”, сидел присяжный поверенный Павел Григорьевич Бойчевский. Против нас, перед плотной и густой толпой подсудимых, сидел ряд защитников, среди которых был и казённый военный защитник, приехавший с судом капитан — кандидат на военно-судебные должности. Из местных в числе защитников занимали места С. Е. Кальманович, А. О. Немировский, А. П. Ровинский и А. А. Токарский. Заседания были открытыми для публики, но мест для неё оставляли немного. Допускали всех без билетов. Но вообще публики было очень мало...

Начался допрос свидетелей. Интересный эпизод имел место при допросе офицера, командовавшего ротой или взводом, посланным к холерному бараку городской больницы. Офицер уверял, что он сам лично видел, как кто-то вставал из гроба, одетый в саван и осыпанный чем-то белым. На предупреждение и почти грозный окрик председателя, чтобы свидетель помнил данную им присягу и не давал бы легкомысленных показаний, офицер подтвердил заявленный им факт; на вопрос, во что был одет вставший из гроба, свидетель показал, что под саваном у него была старая пиджачная пара. Тогда, по моему требованию, была спрошена сестра милосердия, во что одевали умерших. Она показала, что покойников всегда одевали в белые холщовые рубахи и такие же панталоны. Было установлено, что гроб, из которого на глазах офицера выходил покойник в пиджачной паре, находился в складе, помещавшемся в надворном сарае барака... Таким образом, этот эпизод, вначале ободривший подсудимых, в конце концов дал ещё одно доказательство наличности подстрекателей-провокаторов...

Недели три длился допрос свидетелей. Настали дни прений. К этому времени нахлынула публика, среди которой выдавались несколько фигур политических, местных, а также интернированных в Саратов. Тут же сидели какие-то господа длинноволосые, непричёсанные, с всклоченными бородами, с толстыми массивными палками-дубинами в руках. Их внешность и наружность и всё обличье ярко обнаруживали их политическую окраску...

Ничего яркого и выдающегося прения не дали. Следы их можно найти в местных газетах. Суд совещался и писал приговор что-то около недели. Наконец 20 ноября — ровно через месяц после открытия заседания — был объявлен приговор: 22 или 24 подсудимых приговорили к смертной казни через повешение, в числе их и Мордвинкина, около 50 человек — в каторгу и в арестантские роты и в тюрьму на разные сроки; остальные, свыше 70 человек, были оправданы. Кассационных жалоб и протестов на приговор не поступало, и он был конфирмован государем с заменой смертной казни ссылкой в каторгу до 20 лет.

Так кончился холерный процесс в Саратове. В нашей губернии серьёзные холерные беспорядки были ещё в Хвалынске, где также 29 июня на площади был убит бунтующей толпой доктор Молчанов. Все хвалынские власти, начиная с исправника и кончая председателем земской управы, укрылись в... тюремном замке до прибытия в Хвалынск вице-губернатора А. А. Высоцкого с ротой солдат. Труп Молчанова два дня лежал на площади неубранным, пока не явился предводитель дворянства граф Медем со своими людьми и не похоронил его... Хвалынцев, кажется, совсем не судили, а ограничились телесным наказанием. Эту экзекуцию в городе и в деревнях проводил А. А. Высоцкий.

Военный суд удовлетворил мои иски полностью с круговой порукой всех обвинённых. Но мои доверители остались при “голом праве”: ни у кого из подсудимых никакого имущества не оказалось.

Думские схватки

**Выборы в думу по новому положению. — Усиление оппозиции установившемуся муниципальному курсу. — “Потускнение” городского головы Епифанова. — Ноты разочарования в “Саратовском листке”. — Неожиданное предложение вернуться в управу. — Суматоха, вызванная сложением Епифановым своих обзязанностей. — Городской голова опять садится в своё кресло. — Кажущееся успокоение. — Постановление думы о закрытой баллотировке решений. — “Муниципальные беседы” и последующее двенадцатилетнее сотрудничество в “Саратовском листке”. — Сотрудничество сменилось отчаянной, беспощадной травлей. — Неукротимая, фанати-**

**ческая ненависть и нетерпимость к чужому мнению**

В 1892 г. вышло в законодательном порядке новое городовое положение, изданное взамен положения 1870 г. Оно несколько сузило круг городских избирателей, несколько повысив ценз. Но в то же время восполнило и исправило некоторые дефекты своего предшественника. Так, был установлен срок для протеста губернатора против постановления думы; сделана неудачная попытка сократить количество заседаний городской думы введением думских сессий. Но эти новшества носили в большинстве паллиативный характер. Впрочем, городовое положение 1892 г. внесло и одно существенное изменение: отменило выборы гласных по разрядам и соединило всех избирателей в одно собрание, предоставив городской думе право, с надлежащего утверждения высшей губернской административной власти, разделить город на избирательные участки и проводить выборы по участкам без каких-либо разрядов.

Хотя составу нашей городской думы и управы предстояло служить ещё два года, но ввиду введения в действие городового положения 1892 г. предписывалось, не ожидая истечения четырёхлетнего срока, провести новые выборы уже на основании этого положения. Поэтому в начале 1893 г. в Саратове были проведены новые выборы.

Число гласных по Саратову положение 1892 г. увеличило до 80 вместо 72. Проведение выборов в одном избирательном собрании представило бы значительные, чисто технические трудности и неудобства: не было в городе помещения, вмещающего хотя бы одну треть избирателей. С другой стороны, правое крыло нашей городской думы опасалось, что выборы по участкам могут ввести в состав гласных нежелательные и в высшей степени для него неудобные элементы.

Большинство городской думы остановилось на среднем решении: разделили город только на два избирательных участка, из них один выбирал 42 гласных, а другой — 38. Несмотря на эту стратегическую диверсию, в новый состав гласных прошли лица, которые послушно и покорно не пойдут в ногу с так называемой думской “чёрной сотней”. Это не была явная и острая оппозиция установившемуся муниципальному курсу. Но это были люди независимые, самостоятельные и определённо не принадлежащие ни к одной из думских партий. Как увидим дальше, влияние и воздействие этих мер на решение городской думы сказались в первые же месяцы её работы и чуть не вызвали “министерского кризиса”.

Выборы городского головы прошли мирно, спокойно и безболезненно: вновь избрали А. Н. Епифанова при полном отсутствии каких-либо конкурентов. Но фонды его заметно пали и престиж его как большого энергичного практического дельца значительно потускнел. Это замечалось и на отношении к нему местной прессы. “Дневник” во главе с Б. А. Марковичем, состоявший на иждивении особого “товарищества”, выбивался из последних сил в прославлении и восхвалении Епифанова. Но “Листок” уже значительно понизил тон своего доброжелательного отношения по его адресу. В этом старейшем органе нашей саратовской газетной прессы по временам стали звучать нотки разочарования. То же разочарование сказывалось после “холерного бунта” и в некоторых ранее расположенных к Епифанову слоях населения и избирателей. Я не касаюсь того, насколько резонно и основательно ставить ему как общественному деятелю в вину и в пассив этот “бунт”. По моему мнению, это очень спорно, и я, руководясь чувством справедливости и беспристрастия, полагаю, что главных виновников “бунта” надо искать не в городской думе, а в более высоких губернских административных сферах. Но другие, и многие, разбирались в этом деле иначе и думали по-другому, что отражалось на фондах А. Н. Епифанова и серьёзно и реально — на выборах состава городской управы.

Как-то, вскоре после вторичного выбора Епифанова, ко мне на квартиру в мои деловые приёмные часы явился гласный Фёдор Михайлович Оленев — из базарных торговцев среднего калибра, несомненный и верный сторонник Епифанова и член правого крыла городской думы (“чёрной сотни”). После обычных приветствий он прямо приступил к делу и заявил, что от имени группы гласных, на то его уполномочивших, просит меня баллотироваться в члены городской управы и заступающие место городского головы. Оказывается, заместивший меня в управе Н. П. Фролов не желает далее оставаться в её составе и намерен вернуться в первобытное состояние — в присяжные поверенные. Поэтому почти все гласные желали бы, чтобы я вновь вошёл в состав городской управы, несмотря на моё явное оппозиционное отношение к существующему муниципальному курсу. Я поблагодарил Оленева и уполномочивших его гласных за сделанное мне предложение и выраженное ко мне доверие, но самым решительным образом и наотрез отказался вернуться туда, откуда ушёл два года тому назад. Оленев некоторое время убеждал меня согласиться. Но я был непреклонен, и он удалился.

Это предложение было сделано мне в целях устранить возможность кандидатуры А. В. Пескова, совместную службу с которым Епифанов, как уже сказано выше, безусловно, не допускал. Вновь избранный лорд-мэр, очевидно, готов был примириться с моим возвращением в управу и, по-видимому, даже искренно желал этого, но никак не мог переварить совместной работы с Песковым.

Но случилось не по его желанию. В апреле 1893 г. Песков значительным большинством был избран в члены управы и заступающим место городского головы. На другой день Епифанов прислал заявление на имя городской думы о сложении обязанностей городского головы. Не ожидая рассмотрения своего заявления городскою думою, Епифанов немедленно после подачи его уехал в Киев на поклонение печерским угодникам.

Среди гласных правого крыла возникла суматоха. Начались совещания и увещания. Некоторые увещевали Пескова отказаться от должности, на которую он только что избран. Но он не внял им, заявив, что считает неудобным игнорировать желание большинства думы. Между Саратовом и Киевом начался оживлённый обмен телеграммами, причём лидеры и главари правого думского крыла просили Епифанова смилостивиться и взять свою отставку назад. Он не соглашался и проявлял твёрдость в принятом им решении.

Наконец в доме гласного Николая Васильевича Скворцова собрались гласные — столпы стародумцев, по преимуществу и почти исключительно представители торгово-промышленного класса, и совещались, что делать и что предпринять в дальнейшем. Было составлено заявление от гласных на имя думы — просить Епифанова от её имени вернуться на покинутый им пост.

В двадцатых числах апреля 1893 г. это заявление было рассмотрено в городской думе под председательством Н. П. Фролова. После продолжительных и оживлённых прений, принимавших иногда весьма щекотливый и обидный для Епифанова характер, большинством было решено просить Епифанова вернуться в Саратов и взять свою отставку обратно. На телеграфное сообщение об этом Епифанов смилостивился. Вернулся в Саратов, взял своё заявление об отставке обратно, явился в городскую управу и сел на своё лорд-мэрское кресло рядом с Песковым. Фролов вернулся в присяжную адвокатуру и остался только городским юрисконсультом. Ранее последнее звание он совмещал с должностью члена управы и заступающего место городского головы. После этого стихло, улеглось взбаламученное муниципальное море и, по-видимому, вошло в свои берега.

Но успокоение было только кажущееся. В действительности дело обстояло совсем неблагополучно для наших правых стародумцев и их ставленника Епифанова. Он вернулся с сильно подорванным авторитетом. Самые искренние и дальновидные из его горячих сторонников и поклонников откровенно заявляли, что фонды его после возвращения сильно понизились. Капризный жест по случаю выбора Пескова, отъезд в Киев, отдававшие позой (а la “Борис Годунов”, как острила наша пресса), а затем возвращение по просьбе городской думы, значительное большинство которой посадило рядом с ним неугодного ему сотрудника, — всё это расхолодило и разочаровало многих до того преданных ему сторонников.

Оппозиция в городской думе крепла и пускала глубокие корни. В числе ярых оппонентов и противников Епифанова оказался молодой гласный А. М. Масленников. Мы вместе с ним добились руководящего постановления думы о том, чтобы при заявлении не менее пяти гласных о закрытой баллотировке шарами поставленного вопроса такой порядок являлся обязательным.

Применение постановления на практике дало удивительный эффект. Многие вопросы и доклады, вносимые управою и городским головой, которые при открытой баллотировке несомненно проходили бы в положительном смысле и согласно с представленным заключением, при закрытой баллотировке вызывали отрицательные резолюции. Разгадка этого явления очень проста и естественна: на стороне управы и Епифанова во главе правого крыла думы стояли тогда лица, державшие в своих руках банковские кредиты по учёту торговых векселей, и от их зоркого глаза не укрывалось поведение гласных, нуждающихся в этих кредитах. Законодатель предвидел возможность и неизбежность такого влияния и воздействия. В этих целях он изъял из состава гласных директоров городского общественного банка и его товарищей, но членов правления и разных советов и комитетов частных банков и кредитных учреждений (например взаимного кредита и др.) оставил в составе городской думы неприкосновенными. Заявления пяти гласных о закрытой баллотировке нарушали все расчёты банковиков и устраняли или значительно парализовали их надзор и контроль за мнениями и поведением гласных при вотировании предложенных вопросов и докладов.

После этих событий “Саратовский листок” занял явно враждебную позицию по отношению к Епифанову. Вместо прежних доброжелательных и хвалебных отзывов в газете начали появляться по его адресу горячие, резкие и страстные нападки.

С половины лета 1893 г. в “Листке” начали печататься мои “Муниципальные беседы” под псевдонимом Alterus. Редакция принимала и помещала их очень охотно. “Беседы” мои являлись в сущности муниципальными фельетонами. Печатались они более или менее аккуратно раз или два в неделю и носили явно оппозиционный характер, откликаясь на все муниципальные злободневные вопросы. Одна из “Бесед” у меня случайно уцелела, и этот номер “Саратовского листка” (от 6 января 1894 г.) я присоединяю к моим воспоминаниям в виде приложения.

Я сделался постоянным сотрудником “Саратовского листка”. Кроме “Бесед”, в нём помещались иногда мои рассказы, путевые корреспонденции во время моих поездок, заметки и статьи юридического содержания и т.п. Моё сотрудничество в старейшей саратовской газете длилось непрерывно двенадцать лет и окончилось в конце 1905 г. ввиду резкого и острого расхождения по политическим платформам...

Замечу, что по выходе моём из сотрудников “Листка” в нём началась отчаянная, беспощадная и беспардонная травля меня, которая началась ещё при жизни долголетнего редактора газеты П. О. Лебедева, скончавшегося в 1910 г., и продолжалась с ещё большим ожесточением при новых хозяевах “Листка” — Сараханове и Аргунове. Не оставляли меня своим “вниманием” и последние руководители “Листка” — кадеты С. П. Красников, Н. Н. Сиротинин и А. А. Никонов. Да простит всем им Господь Бог их партийное злопыхательство и фанатичную, неукротимую, искромётную ненависть и нетерпимость к чужому мнению и убеждению. Последнее обличает очень малую и низкую культурность моих врагов и противников.

Моё двенадцатилетнее сотрудничество в “Листке” познакомило меня ближе с газетными провинциальными работниками, до некоторой степени приобщило к миру “братьев-писателей”, претендующих быть руководителями общественного мнения и судьями житейских общественных пороков, минусов и дефектов, зовущих к идеалам добра, правды, мнящих себя стоящими на страже великих духовных мировых ценностей. “А судьи кто?!” Так спрашивал когда-то Чацкий. Я же, знакомясь с газетными нападками на меня, вспоминал всегда евангельское изречение: “Горе вам, если о вас все будут говорить хорошо”. А римский папа (который из Иннокентиев) сказал: “Если меня порицают и ругают, значит, я что-то делаю”.

Неяркое время

**В городском управлении ничего выдающегося, всё по шаблону. — Смерть Александра Третьего и вступление на престол Николая Второго. — Слухи вокруг этих событий. — Разговоры и ожидания в обществе. — Перемены в судебном мире. — Открытие музыкального училища, преобразованного из музыкальных классов. — Шаг вперёд к консерватории: Саратов опережал**

**все остальные провинциальные центры**

Конец 1893 г. и 1894 г. в нашем городском управлении прошли спокойно, мирно, всё шло по шаблону, по трафарету, ничего яркого, выдающегося.

Дума была озабочена скорейшим заключением с рязано-уральцами крепостного акта на отчуждённую под железную дорогу городскую землю. Вносились доклады, постановлялись резолюции, которыми просили управу ускорить дело, получить следующее городу вознаграждение за землю и оформить обязательства железной дороги. Управе назначались крайние сроки исполнения постановлений. Но в производстве управы и думы не всё почему-то обстояло благополучно, о чём расскажу позже.

А теперь пока остановлюсь на явлениях и событиях нашей государственной и общественной жизни, насколько они отразились и преломились в Саратове второй половины 1894 г.

К этому времени относится смерть Александра Третьего и вступление на престол Николая Второго. Частные слухи об опасном и крайне серьёзном недуге Александра Третьего давно уже доходили до нас. Но, очевидно, это обстоятельство высокие правящие официальные сферы тщательно скрывали от общества и народа. Когда я в августе или сентябре 1894 г. затронул эту тему в разговоре с нашим почтенным гласным М. А. Поповым, сын которого, постоянно переписывавшийся с своим отцом, состоял лейб-медиком при Высочайшем дворе, и сообщил ему слухи об опасном состоянии здоровья государя, Попов категорически и самым решительным образом заявил, что все эти слухи не имеют никакого основания и что от сына он получил сведения совершенно иного характера: болезнь государя ничего опасного не представляет и в общем он пользуется прекрасным здоровьем.

Но прошло после разговора не более двух месяцев, как Александр Третий скончался в Ливадии. Конечно, служились по обычаю панихиды, писались адресы новому государю, но в общественном настроении и в представляемых адресах почти совершенно отсутствовали надежды и ожидания, которые определённо высказывались в 1881 г. после смерти Александра Второго. На эту тему иногда раздавались единичные голоса, которые тонули без следа в общей массе, инертно и безучастно относившейся к текущим событиям. Но после известного приёма Николаем Вторым адреса тверской депутации и упоминания им о “бессмысленных мечтаниях”, смолкли и эти единичные голоса.

По Саратову ходила эпиграмма, принадлежавшая перу одного из местных острословов и обращённая к новому царю, которому рекомендовалось быть “Николаем Вторым”, но не “вторым Николаем”, то есть своим прадедом. Женитьба нового царя на Алисе возбуждала толки и сожаление, что он женился на немке, а не на черногорской принцессе, о чём одно время ходили усиленные слухи. Передавалось по рукам стихотворение, оно начиналось так:

Русский жук, коль верить слуху,

Выпив чару не одну,

Злую гессенскую муху

Вздумал взять себе в жену.

Не помню продолжения, но оканчивалось стихотворение так:

Проживут они беспечно,

Обойдутся без наук.

Только с “мухой” будет вечно

Всероссийский чёрный жук.

Слухи, толки и ожидания, соединённые со смертью Александра Третьего и вступлением на престол его сына, скоро улеглись, и всё вошло в старую колею.

Следует, однако, отметить, что ещё в конце царствования Александра Третьего в судебном мире последовали некоторые перемены, имеющие отношение к Саратовскому судебному округу: в Астрахани, в Оренбурге и Троицке были открыты окружные суды, включённые в округ Саратовской судебной палаты, но без суда присяжных заседателей. Поэтому наша судебная палата являлась второй апелляционной инстанцией по всем уголовным делам до каторжных включительно. Нам, присяжным поверенным, нередко приходилось вести по назначению казённые защиты по таким серьёзным и важным делам в судебной палате на основании одного только писанного протокольного материала без подсудимых и свидетелей. Такой порядок напоминал “соединённую” (предреформенную) или, вернее, старую уголовную (дореформенную) палату. В 1896 г. по назначению министром юстиции Муравьёва в этих судах были введены присяжные заседатели на общем основании. Это преобразование было благоприятным симптомом в нашей внутренней политике и значительно облегчило адвокатские повинности местным саратовским присяжным поверенным.

В 1894 г. саратовские музыкальные классы были преобразованы в музыкальное училище. Учебное заведение, находившееся в ведении нашего музыкального общества, из низшего делалось средним, как бы ступенью, преддверием будущей консерватории, открытия которой, первой в провинции, мы добились через 18 лет — в 1912 г. Директором открытого училища остался С. К. Экснер.

Помимо расширения программы музыкального преподавания при училище были открыты и классы по научным предметам приблизительно в курсе прогимназии. Но они просуществовали недолго, так как почти все ученики и ученицы музыкального училища уже обучались в средних учебных заведениях, менять которые на наши научные классы им было нерасчётливо во всех отношениях. Кроме того, в наших классах допускалось совместное обучение учеников и учениц. Такая “совместность” в то время не пользовалась симпатиями родителей и воспитателей. Поэтому в наши научные классы попадали почти исключительно только учащиеся, которые почему-либо не попали в учебные заведения других ведомств или и не могли попасть в них по степени познаний и представляли в большинстве отбросы детей школьного возраста. Это же явление наблюдалось и в других городах, где открывались музыкальные училища.

Тем не менее открытие в Саратове музыкального училища было шагом вперёд к консерватории, и наш город опередил, кажется, все остальные провинциальные центры.

Торжественный акт открытия музыкального училища в присутствии губернатора князя Б. Б. Мещерского и других властей проходил в помещении училища (угол Немецкой и Александровской, где теперь находится гостиница “Европа” — бывший дом Санина) в первых числах сентября (4-го или 5-го). Я прочитал перед присутствовавшими краткий исторический очерк наших музыкальных классов, указав обстоятельства преобразования их в училище. После акта был предложен обед. Подробности открытия музыкального училища были изложены нашими местными газетами.

Адвокатская практика

**Платные дела были редкостью. — Сенсационные криминалы привлекали столичных светил. — За громкие уголовные дела адвокаты брались бесплатно ради только рекламы. — Приёмы завлечения клиентов. — Комиссионеры и посредники, известные под именем “загоняльщики”. — “Увечная клиентура”. — Некоторые адвокаты содержали за свой счёт своих подзащитных и даже их семьи. — Цель не благотворительная, а спекулятивно-коммерческая. — Ухищрения для поддержания адвокатского реноме. — “Договорённости” с газетами. — Некорректность и неопрятность приёмов привились в адвокатской среде. — Развеялась романтическая дымка в представлениях об адвокатской профессии. — О чинах судебного ведомства. — Сник ореол судейской независимости и самостоятельности. — Превращение судей в заурядных чиновников. — Роль протекции и знакомства. — Новое вино вливалось в ветхие меха. — “Восполнение” малых окладов.**

**— Отток из магистратуры и прокуратуры в адвокатуру**

В 1893-м и особенно в 1894 г. расширилась и увеличилась моя адвокатская практика. Я принимал дела как уголовные, так и гражданские. Но уголовная практика давала очень редко платные дела: громадное большинство подсудимых довольствовалось казёнными защитниками, назначаемыми от суда. Уголовные же дела “по соглашению”, а не “по назначению” выпадали очень редко. Сенсационные криминалы иногда вызывали в качестве защитников или обвинителей (гражданских истцов в уголовном процессе, или частных обвинителей) столичных светил.

Громкие уголовные дела некоторые адвокаты, особенно из начинающих, брали бесплатно ради рекламы, а бывали случаи и вознаграждения подсудимых защитников за право участия в деле, дававшем благодарный материал для защиты и уверенность в оправдании. Выступить по такому могущему привлечь в зал суда многочисленную публику делу и попасть в этой благодарной роли в газетные судебные отчёты считалось полезным и целесообразным вообще для практики.

Я, конечно, к подобным приёмам не прибегал. Не пользовался ни комиссионерами, ни посредниками, доставляющими адвокатам за определённое с их стороны вознаграждение клиентов.

Комиссионеры и посредники, ловившие нуждающихся в судебной защите и адвокате в гостиницах, трактирах, постоялых дворах, банях, на базарах, в больницах и т.п., известны были под именем “загоняльщиков”. “Загоняльщиками” обычно были трактирные и кабацкие завсегдатаи, мелкие подпольные ходатаи, разные праздношатающиеся и пропойцы — в большинстве рвань и отбросы. В числе их встречались трактирная прислуга, фельдшера и хожатки больниц и приёмных покоев.

Последние доставляли так называемую “увечную практику”. Под ней разумелись изувеченные и искалеченные на железной дороге или на трамвае. Эта “увечная клиентура”, благодаря некоторым процессуальным особенностям и льготам для добивавшихся от железной дороги вознаграждения за повреждение здоровья, считалась особенно выгодной, и некоторые адвокаты содержали, помимо “загоняльщиков”, увечных клиентов на свои средства до окончания дела. Конечно, все эти расходы при получении с железной дороги присуждённой суммы возмещались сполна и с избытком.

Некоторые адвокаты даже организовали для таких увечных нечто вроде общежитий, приютов, в которых клиенты проживали до окончания дела на полном содержании своего адвоката. Оптом такое предприятие обходилось дешевле и выгоднее. Получалось что-то вроде пансиона-убежища увечных, открытого не с благотворительной, а со спекулятивной, коммерческой целью. Нередко за счёт адвокатов содержались и семьи их клиентов.

Такие предприятия были, по-видимому, очень выгодны. Об одном из саратовских адвокатов говорили, что он, специализировавшись в “увечных делах”, за счёт железной дороги выстроил себе дом.

Для поддержания адвокатского реноме пускались в ход ухищрения и другого сорта, к которым не брезговали прибегать большие адвокаты с обширной практикой. Так, мне на личном опыте довелось убедиться, что об одном из таких адвокатов — еврее “Листок” печатал только сообщения о выигранных им делах и не пропускал ни одной заметки о проигранных. Почему, в силу каких соображений и соглашений поступала так редакция газеты — не знаю и недоумеваю.

Хотя тогда мне практика была нужна как заработок для проживания, я беспощадно гнал являвшихся ко мне “загоняльщиков”, предлагавших свои услуги по добыванию доверителей и клиентов. И, несмотря на это, к середине девяностых годов я уже имел практику, которая мне давала заработок, превышавший в 3 и даже в 4 раза жалованье, которое я получал на службе в городской управе. При этом я не прибегал к “загоняльщикам” и не пускал в ход никаких ухищрений и подвохов.

Войдя в недра адвокатуры, я скоро воочию убедился в некорректности и даже неопрятности приёмов, какие пускались в ход с целью подставить ножку своему коллеге или заполучить доверителя и клиента. Конечно, борьба за существование диктовала свои правила. Но сказанное мною о таких приёмах отнюдь не следует обобщать и применять огулом ко всем членам присяжной адвокатуры. Между ними были в нашей саратовской адвокатской семье и счастливые исключения, свои праведники, рыцарски и джентльменски относившиеся к своему званию и своей профессии. И всё же я, вращаясь в судебном мире, нередко вспоминал известный стих Байрона:

Юрист — моральный трубочист

И потому душою он не чист... *(“Дон Жуан”)*

Злая сатира Щедрина о Балалайкине не в состоянии была развеять в моём представлении романтической дымки, которой я окружал профессию адвоката во времена моей юности. Но достаточно было подойти к ней поближе, как от дымки и следа не осталось...

Что касается магистратуры и прокуратуры, члены которых на официальном языке назывались чинами судебного ведомства, то нельзя было не заметить, что к этому времени, сравнительно с первыми годами открытия новых судебных учреждений, значительно потускнел их престиж. В громадном большинстве они были и остались честными, добросовестными тружениками, работавшими иногда до самоотвержения. Но они уже не были несменяемые, неувольняемые и непереводимые без их согласия большие важные особы, герои первых “медовых” годов по открытии новых судов. Их уже не окружал в полном сиянии ореол судейской независимости и самостоятельности, какой присвоили им судебные уставы 20 ноября 1864 г. В те медовые годы члены магистратуры чрезвычайно редко награждались чинами и орденами. Поэтому часто коллежские секретари занимали должности 4-го класса, то есть генеральские, не имея никакого “поношения” в виде крестов и звёзд ни на шее, ни на груди.

С годами всё это изменилось. Хотя мягко и деликатно, но министерство не всегда считалось с несменяемостью и непереводимостью судей. Их стали производить в чины по табели о рангах через узаконенные сроки, награждать орденами и чинами по представлениям их ближайшего начальства. А при таких порядках можно ли серьёзно говорить о судейской независимости и самостоятельности?

Несменяемые и неувольняемые судьи фактически превратились в заурядных чиновников, в чинов судебного ведомства, почти ничем по своему служебному положению не отличающихся от чинов других бюрократических ведомств.

Всё же, по старой памяти, судебное ведомство считалось самым чистым среди всех остальных, хотя историческая правда и справедливость вынуждают меня отметить, что в этом чистом ведомстве играли немалую роль протекция, знакомство и непотизм (кумовство). В одном из саратовских судебных учреждений во второй половине девяностых годов председатель охотнее представлял к наградам тех из своих сотрудников, у которых он мог совершать займы. Злые языки говорили, что занятые суммы возвращались очень туго и ...даже не всегда.

Новое вино судебных уставов 1864 г. вливалось иногда в меха ветхие, на стенках которых остались старые микробы и бактерии, вносившие своеобразное брожение и разложение. В министерстве юстиции это брожение старинных бюрократических и канцелярских приёмов одно время наблюдалось во всю ширь и проявлялось совершенно откровенно. В семидесятых годах во всём судебном мире громко говорили, что у директора департамента, ведающего назначениями, получение хорошей должности стоило годового её оклада, каковой и вручался директору. Следует отметить, что после ухода этого директора купля-продажа должностей прекратилась, но протекция, знакомство и непотизм остались в прежней силе.

С другой стороны, на падение престижа чинов судебного ведомства влияли и оклады жалованья, назначенные в шестидесятых годах. Оклады, казавшиеся тогда достаточными и даже очень щедрыми сравнительно с окладами других ведомств, через тридцать лет оказались недостаточными для семейных людей, живущих только жалованьем. Приходилось существовать “с ограничением некоторых общечеловеческих и культурных прав” и восполнять бюджетные прорехи прогонами и суточными по разъездам на сессии. Но и этот источник был доступен только судьям уголовных отделений. Члены же гражданских отделений должны были довольствоваться жалованьем, только изредка получая прогоны и суточные, если их просили о производстве поверочных действий на месте с выездом из города (осмотр, допрос свидетелей, измерение спорной земли и т.п.). Но эти случаи были очень редки.

Такие условия службы иногда вынуждали оставлять магистратуру или прокуратуру и переходить в адвокатуру, которая вознаграждала талантливых, знающих и добросовестных работников более щедро, чем служба. Некоторые переходили в другие ведомства. Так, товарищ прокурора Саратовской судебной палаты Борис Александрович Арапов, обременённый большою семьёю, перешёл на службу по акцизу, но с условием, чтобы ему, в изъятие из общих норм закона, одновременно с государственной службой юрисконсульта разрешили быть частным поверенным. Условие было принято и испрошено особое сепаратное Высочайшее повеление о разрешении Б. А. Арапову совместить государстввенную службу с занятием частной адвокатурой. Говорят, на всю Россию было только два таких частных поверенных “по Высочайшему повелению”, которое обычно ежегодно печаталось в собрании узаконении.

Вот причины, по которым потускнел престиж деятелей нового суда к концу девятнадцатого столетия.

Отставка городского головы А. Н. Епифанова

**Примирение Епифанова с Песковым. — Положение городского головы казалось прочным, почти неприступным. — Начало 1895 г. нарушило тишь. — Странное мирволение Епифанова к долгам железнодорожников. — Служебная небрежность? — “Изъятие” постановления думы из протокола её заседания. — Запрос управе. — “Постановления не было”. — Публикации в газетах как доказательство существования постановления. — Авторитет подмочен. — Легковесные доклады городского головы отвергнуты думой. — Заявление Епифанова о сложении обязанностей городского головы.**

**— Печальный конец муниципальной карьеры**

Сравнительно тихо, спокойно прошёл 1894 г. Епифанов успел примириться с сотрудничеством Пескова и, пожалуй, даже убедился в неосновательности своих былых опасений и нежелания иметь его своим ближайшим помощником. Осторожный, сдержанный, дипломатичный Песков скоро приспособился к Епифанову и иногда, по некоторым думским вопросам, трудно было распознать: где в прениях и в общей линии поведения оканчивался один и начинался другой. Муниципальное министерство (городская управа) выглядело солидарным и сплочённым. Думская оппозиция не причиняла ему никаких серьёзных тревог, забот и неприятностей. Положение Епифанова казалось прочным, почти неприступным.

Но в первые же месяцы 1895 г. положение это сильно пошатнулось, и мне, по случайному стечению обстоятельств, пришлось первому нарушить установившуюся муниципальную тишь. Случилось следующее.

Я уже говорил выше, что городская дума, озабоченная скорейшим окончанием дела о вознаграждении города за отчуждённую под сооружения железной дороги землю, дала управе срочное поручение. Длящаяся волокита в этом деле мне представлялась странной, необъяснимой и даже — должен сознаться — подозрительной: скорее чувствовалось, чем наблюдалось, какое-то особое мирволение, или заигрывание, Епифанова к железнодорожникам. Я не сомневался, что это мирволение совершенно бескорыстно и не заключает в себе того, что юристы называют признаками преступления. Но всё же мотивы такой поблажки, пускай и бескорыстные, чуждые всяких криминалов, в то же время могли идти вразрез с интересами города. Да к тому же подобный образ действий управы носил характер служебной небрежности, нерадения, медленности, бездействия. Поэтому я задался целью всесторонне выяснить и проверить мои предположения и подозрения.

Начал я рыться в своей памяти и в документах, относящихся к делу, которые были мне доступны. И вот что открылось. 24 июня 1894 г. городская дума назначила крайним сроком на совершение купчей крепости с правлением железной дороги на отчуждённую ей городскую землю 1 сентября того же года, если же к сроку купчая совершена не будет, то поручается управе представить думе особый доклад. Купчая крепость совершена не была. Прошло более полугода с истечения крайнего срока, а никакого доклада представлено не было.

Дальнейшее расследование обнаружило новое и очень странное обстоятельство: в протоколе думы от 24 июня 1894 г. отсутствовало постановление о совершении купчей не позже 1 сентября 1894 г. и о поручении управе особо доложить думе в случае несовершения крепостного акта. Вообще в протоколе был во всей целости исключён вопрос об отчуждённой городской земле, как будто бы он совсем не слушался. И вдруг — ни малейшего следа.

Поэтому в заседании думы 7 марта 1895 г. я предъявил к управе запрос — почему до сих пор не исполнено постановление от 24 июня 1894 г. относительно совершения купчей крепости с железной дорогой. Епифанов и городской секретарь А. В. Милашевский категорически и решительно мне заявили, что такого постановления думы не было. На другой день я повторил запрос и представил июньские номера “Листка” и “Дневника” за 1894 г., в которых в отчётах о думском заседании 24 июня 1894 г. дословно и буквально изложено постановление думы. Особенное значение имел отчёт “Дневника”, который фактически был официозным органом партии Епифанова и финансировался им, а потому почти в каждом номере пел хвалы и акафисты лично ему и муниципальному режиму.

По представлении мною газет в зале думы длилось несколько секунд молчание, которое нарушил смущённый Епифанов, заявив, что по этому вопросу управа в первое же заседание думы представит особый доклад. Доклад был представлен в заседании думы 15 марта 1895 г. Управа уже не отрицала, что указанное мною постановление думы действительно состоялось, но отсутствие его в протоколе объясняла как-то туманно, сбивчиво, неопределённо: не то это была канцелярская проруха со стороны городского секретаря, не то забывчивость и небрежность его и городского головы. Причём управа, хотя робко и даже наивно, силилась доказать, что это отсутствующее в протоколе постановление ею исполнено.

Доклад вызвал продолжительные и страстные прения, принимавшие иногда очень резкий характер. Городская дума большинством 47 против 12 признала объяснения управы достаточными. Этим вопрос был, по-видимому, исчерпан.

Ликвидация его была, однако, чисто бумажной, формальной. В действительности же вся история, очень зло и остроумно комментируемая и трактуемая местной прессой “Саратовским листком”, породила большие толки и оставила глубокий след, в результате чего сильно упали общественные фонды Епифанова. Он терял кредит в общественном мнении и утрачивал значительную долю авторитета в глазах своих сторонников и поклонников, уже сильно дрогнувшего после выборов Пескова в 1893 г. Вина городского головы, упорно и категорически отрицавшего наличность постановления думы 24 июня и вынужденного признать этот факт после представления мною газетных отчётов, была очевидна для всех.

На исход этого дела, несомненно, имели большое и, пожалуй, решающее влияние столь свойственные русскому человеку сердечные влечения милосердия, снисходительности, прощения, забвения вины; мотивы, в силу которых наши русские присяжные заседатели выносят часто оправдательные вердикты явным и сознавшимся подсудимым. Всё это отлично понимал и сам Епифанов и чувствовал, что почва уходит из-под его ног как общественного деятеля. Последующие события не замедлили подтвердить это.

Вскоре Епифанов с управою входит в думу с тремя серьёзными и важными докладами принципиального значения. А именно: о совершении займов значительных сумм на мощение улиц, на упорядочение базарных площадей и на операции городского ломбарда.

Можно предположить, что эти доклады являлись пробными шарами, посредством которых Епифанов хотел проверить и установить более или менее точно удельный вес кредита и авторитета, какие ещё остались в его активе. Возможно, у Епифанова теплилась надежда таким путём восстановить прежний кредит, реставрировать минувший авторитет; что это была попытка найти твёрдую почву, прочную опору для своего пошатнувшегося положения.

Доклады рассматривались думою в конце первой половины апреля 1895 г. Главным и сильным оппонентом против них явился А. М. Масленников. Составлены они были и мотивированы неважно. Избалованный за четыре года своего главенства тем, что его предложения, доклады и заявления принимались большинством думы почти молча и беспрекословно, Епифанов и на сей раз внёс доклады о займах очень легковесные. Они подверглись в думе жестокой критике и все были отвергнуты. Немедленно, 14 апреля 1895 г., Епифанов прислал на имя думы заявление о сложении обязанностей и должности городского головы, мотивируя свою отставку неприятием думою его докладов о займах. В думе не раздалось ни одного голоса, просящего его остаться на своём посту. Заявлению Епифанова об отставке был дан законный ход, он уже больше не показывался в управе, и в исполнение обязанностей городского головы вступил Песков.

При таких обстоятельствах и столь печально закончилась муниципальная карьера Епифанова, сначала открывавшая для него обширные и светлые перспективы.

Уход Епифанова с поста городского головы вдохновил местного пиита (К. И. Селяври) на эпиграмму, которая в 1895 г. ходила по рукам:

Выбирали люди воеводу,

Посулил он “воздух, хлеб и воду”.

Воеводствовал он долго, утомился.

И посыпалися градом укоризны:

Что же, брат, ты сделал для Отчизны?

Покажи-ка воздух, хлеб и воду,

Что сулил ты нашему народу...

“Хлеб и воду — вот нашли находку!

Ну, а хлебную не я ли дал вам водку?”

В 1896 г. он покидает Саратов, окончательно ликвидирует здесь свои недвижимости и все торговые дела и переезжает в Москву на постоянное жительство. Но там не забывает Саратова и время от времени присылает на разные местные благотворительные нужды более или менее значительные суммы. Когда обсуждалась передача имений общества купцов и мещан городу, Епифанов в одном из заседаний обмолвился такой крылатой фразой, попавшей в газеты: “Надо, чтобы купеческие роды длились...”. (Он вообще любил кричащие лозунги и своеобразно красочные выражения. Так, в восьмидесятых годах, ратуя против оперетки, он в заявлении на имя думы сказал, что оперетка — это “животно-сладостная тля”. — ***Прим. авт.***)

Бог не дал ему такой длительности в его собственной семье, которую он содержал строго и крепко по-старозаветному. Из двух его сыновей один умер в молодых годах, другой оказался безнадёжно душевнобольным. В последние годы жизни его мучительно томило — кому передать очень обширное торговое дело, которое он поставил в грандиозных размерах в Средней Азии. Не знаю, как удалось ему решить этот вопрос, но известно, что он решительно и безусловно отвергал очень выгодные предложения и домогательства евреев купить у него торговое предприятие в целом составе. Не располагаю я также точными и верными сведениями о времени его смерти, последовавшей в Москве, кажется, между 1914 и 1920 гг.

Несмотря на многие минусы, Епифанов всё же был натурой своеобразно цельной и недюжинной.

Завершение избирательного срока

**Городскую управу возглавил Н. П. Фролов. — Личные достоинства умалялись пронизывающей всю деятельность “обломовщиной”. — Существенный недостаток управления: совместительство руководителя исполнительного и распорядительного органов. — Большой плюс Фролова. — Член губернского по городским делам присутствия. — Неожиданное избрание на должность городского юрисконсульта. — Чарующее знакомство с югом**

Был слух, что Епифанов рекомендовал на оставшиеся два года избирательного срока (1895 и 1896) избрать в городские головы Н. П. Фролова. Оставалось в действительности не два, а полтора года, так как формальная отставка Епифанова была получена из министерства только к концу мая 1895 г. На Фролове сошлись все партии и фракции городской думы, и он, выступив кандидатом без всяких конкурентов, 2 июня 1895 г. был избран.

Н. П. Фролов — не новый человек в Саратове. Он из рязанских родовитых дворян. В первый же год по введении в Саратове общих судебных учреждений он появился здесь в звании присяжного поверенного, а перед тем занимал должность товарища прокурора в Рязани, но вследствие какой-то неприятной для него истории вынужден был оставить службу по судебному ведомству. Практикуя в Саратове как адвокат, он одновременно принимал участие в местном земстве в качестве гласного.

Приблизительно во второй половине семидесятых годов он оставляет адвокатуру и Саратов и переезжает на постоянное жительство в собственное имение в Вольском уезде. Там его избирают в уездные предводители дворянства. К этому времени относится его покровительство Соловьёву, который 2 апреля 1879 г. покушался на жизнь императора Александра Второго. Соловьёв был чем-то вроде волостного писаря в Вольском уезде и, как говорили, пользовался особенно любезным вниманием Фролова. После 2 апреля 1879 г. появилась в этом смысле статья в “Московских ведомостях” М. Н. Каткова.

В восьмидесятых годах Фролов снова переезжает в Саратов, опять поступает в присяжные поверенные, делается саратовским домовладельцем и продолжает быть земским гласным. В конце восьмидесятых годов Фролов приглашается городским юрисконсультом, избирается в гласные городской думы и в 1891 г., по уходе моём из городской управы, входит в её состав заступающим место городского головы. Однако долго не выдерживает этой марки и в 1893 г. отказывается категорически от этой должности и остаётся только городским юрисконсультом. С июня 1895 г. он уже городской голова.

Фролов не был большим, выдающимся адвокатом; он не был блестящим оратором, не обладал способностью “глаголом жечь сердца людей” или “ударить по сердцам с неведомою силой”. Поэтому уголовной практики он почти совсем не имел, ограничивался гражданской и порученные ему дела вёл медлительно, с затяжкой, с прохладцей, но добросовестно, проявляя опыт и знание. Медлительность, затяжку и оттяжку он широко практиковал и в качестве городского юрисконсульта. Очень скупой, трудно податливый и неторопливый на требуемые от него управою юридические заключения, он из городских дел принимал к производству весьма немногие, наиболее важные, а все остальные передавал своему фактическому помощнику присяжному поверенному П. И. Разумову.

Хорошо воспитанный, обходительный, приветливый Фролов мог расположить к себе окружающих, но как адвокат и как общественный деятель он обладал одним минусом, который умалял его личные достоинства и который я назвал бы “обломовщиной”. Она, “обломовщина”, пронизала всю его деятельность, ярко сквозила в его речи — гладкой, деловой, более или менее связной, но нудной, тяжёлой, тягучей, медленной, с бесконечными повторениями, отступлениями. Либеральный шестидесятник чистой воды, — таким он считал себя и считали его некоторые другие, — Фролов при случае не прочь был идти на разные компромиссы и даже никогда не был чужд некоторого балансирования между двумя борющимися партиями, если это было необходимо в его личных интересах.

Безусловно честный и корректный, Фролов не проявлял богатства инициативы, но, как и Недошивин, не относился ревниво и подозрительно к другим инициаторам. Недошивина он напоминал ещё и другим: много курил, почти не выпуская изо рта папиросу. Этим хроническим отравлением организма никотином я объясняю другой его минус — страшную и неприятную нервность, нервозность, неврастеничность. При обсуждении дел в управе, при распоряжении по канцелярии, при объяснении с подотчётными и подчинёнными лицами часто слышался истерический крик городского головы: усилиями собственной воли он не мог сдерживать своей нервозности и нервного возбуждения.

Заседания думы Фролов вёл корректно, сдержанно, объективно, не проявляя обычной нервности и председательскими резюме и объяснениями не насилуя мнения противников управских докладов и заключений.

Надо заметить, что городовые положения как 1870, так и 1892 гг. имели существенный органический недостаток: совмещение председателя исполнительного органа — городской управы и председателя распорядительного органа — городской думы в одном лице городского головы. Такое совместительство создавало массу неудобств и являлось коренным нарушением самых элементарных основ общественного управления: председатель подчинённого органа — управы председательствовал и руководил заседаниями органа высшего, контролирующего, являющегося апелляционной инстанцией над управой.

Правда, некоторые, весьма немногие, дела городской думы были изъяты из председательства городского головы (об ответственности управы, жалобы на её действия и ревизионные доклады по отчётам управы), которого в этих случаях по городовому положению 1870 г. заменял гласный первого разряда, получивший при выборах наибольшее количество избирательных шаров, а по положению 1892 г. — особо избираемый председатель думы. Но этот слабый, очень незначительный корректив не устранял всех неудобств указанного совместительства. Но почему-то министерство внутренних дел упорно держалось за этот порядок. Оно удержало его во всех городах и тогда, когда в 1903 г. для Петербурга было издано особое городовое положение, по которому председательство в думе по всем делам предоставлялось особо избранному председателю, а городской голова являлся лишь председателем управы.

Только в проекте городского положения, утверждённого Государственной Думой, такое разделение председательства в думе и управе сделалось общим правилом для всех городов без исключения.

При старом же порядке от городского головы требовалось много такта и идейного понимания и разумения своих прав и обязанностей, чтобы быть корректным и беспристрастным председателем в городской думе.

Таким председателем был Фролов. Это был один из больших плюсов в его деятельности. Насколько мне помнится, вступление в должность городского головы он не ознаменовал речью с указанием его программы, лозунгов и заданий. Он принял кормило правления, не обмолвившись ни одним словом о курсе, по которому он намерен его направить. Он взял в руки руль и поплыл по инерции, по течению. Однако нельзя сказать, что этот курс был неправилен или вреден интересам города.

Происшедшая в 1895 г. перемена муниципального режима отразилась на моём положении в городском управлении. В августе 1895 г. я был избран от города членом губернского по городским делам присутствия — на новую должность, установленную городовым положением 1892 г. Прежде в этом присутствии был только городовой голова — в качестве представителя и защитника городских законных прав и интересов. Положение 1892 г. присоединило к нему ещё члена от городской думы губернского города, и на обязанности этих двух городских представителей лежала защита опротестованных губернатором или обжалованных постановлений городских дум всех городов губернии. Закон придавал большое значение должности члена от города в губернском присутствии: избранный на эту должность утверждался министром внутренних дел — такой порядок обычно применялся только к городскому голове и заступающему его место в губернском городе.

Членом губернского присутствия я был бессменно до 1913 г. По этой должности я нередко участвовал в заседаниях присутствия, проходивших под председательством губернатора. А это давало мне возможность знакомиться со свойствами и качествами губернаторов, с приёмами их управления и отношением их к выборным самоуправляющимся учреждениям. Результатами этих наблюдений я поделюсь в своих воспоминаниях.

С выбором Фролова в городские головы предстояло избрание городского юрисконсульта, так как он уже не мог совмещать обе эти должности. В юрисконсульты письменно заявил свою кандидатуру присяжный поверенный Пётр Григорьевич Деконский, даровитый, талантливый и знающий адвокат с установившейся практикой. Деконский, мой товарищ по выпуску из гимназии, играл очень заметную роль в земстве и в дворянстве, он являлся видным и влиятельным членом местной дворянской аристократии и большого света губернии, считался дворянским адвокатом par excellence. В силу этого он был свой близкий человек в высших правящих сферах губернии при губернаторе князе Мещерском. Поэтому его кандидатура в городские юрисконсульты была поддержана губернатором, указаниям и предложениям которого в подобных случаях слепо и беспрекословно подчинялись наши стародумцы, немного дрогнувшие и отчасти разбитые в последнее время, но всё ещё достаточно сильные и сплочённые. Избрание Деконского казалось обеспеченным. Тем более, что никто другой с ним не конкурировал.

Я заявления не подавал и своей кандидатуры не выставлял. Но в заседании думы 20 октября 1895 г. при выборе городского юрисконсульта за меня было подано несколько записок и меня просили баллотироваться шарами. Я согласился, и результат получился для многих совершенно неожиданный: Деконский был забаллотирован, а я — избран довольно солидным большинством.

Говорили, что это избрание повергло в сильный гнев князя Мещерского, который, по закону, имел право (хотя и дискреционное) не допустить меня до исполнения обязанностей городского юрисконсульта. Но в силу ли личных вообще добрых отношений ко мне или же потому, что только перед тем министр утвердил меня членом губернского присутствия, Мещерский к этой мере не прибегнул и уведомил о неимении препятствий к вступлению моему в должность городского юрисконсульта.

Вступая в должность, я принял от Фролова порядочный ворох неисполненных и не пущенных в ход запросов, предложений и дел; по некоторым из них близилось истечение исковой давности. Поэтому первое время мне пришлось работать над очисткой залежей. Помощником у меня остался П. И. Разумов. Городским юрисконсультом я был до 1909 г., когда я попросил уволить меня от этой должности.

Летом 1895 г. я в первый раз посетил наш юг. В июне отправился в Крым, жил некоторое время в Севастополе и Ялте и приблизительно через месяц вернулся в Саратов. Мои “путевые наброски” о путешествии печатались в “Саратовском листке” и затем вошли в сборник, изданный мною в Саратове в 1905 г.

Знакомство с нашим югом произвело на меня сильное и чарующее впечатление, и я в последующие годы, когда позволяли дела, ездил в Крым и на Кавказ, и меня мало-помалу захватывала мысль перебраться на постоянное жительство на юг. Но в 1896 г. 16 июля скончался мой отец 88 лет, и я сделался собственником трёх земельных участков в Новоузенском уезде — в общем около 8000 десятин. Воспитание и обучение моих сыновей и дочерей тоже приковывало меня к Саратову, в котором я ещё при жизни отца имел два дома. Но сильная тяга на юг не проходила с годами. Во второй половине первого десятилетия двадцатого века я был близок к осуществлению моей заветной мечты и почти осуществил её, перебравшись в 1908 — 1909 гг. на восточное побережье Чёрного моря — в Гагры. Но об этом после в своём месте.